Писатели-патриоты
великой родины

*

Л. Н. ТОЛСТОЙ

(1828 – 1910)



ОГИЗ

Гослитиздат 1944

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

ИЗБРАННОЕ

Подготовка текста
и вступительная статья
Н. Н. ГУСЕВА

40953

Пенз. Областная Библиотека
имени М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1944

ПРОВЕРЕНО

Под редакцией
А. М. Еголина, Е. Н. Михайловой,
И. Н. Розанова

1956

ПРОВЕРЕНО

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

«Л. Толстой, — писал В. И. Ленин, — сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе». (В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 400).

Товарищ Сталин в своем выступлении на заседании Совета депутатов трудящихся в Москве 6 ноября 1941 года, перечисляя величайших русских писателей, в числе их называет и Льва Толстого.

Горький в своем курсе истории русской литературы писал о Толстом: «Шестьдесят лет звучал суровый и правдивый голос, обличавший всех и вся; он рассказал нам о русской жизни почти столько же, как вся остальная наша литература... книги его останутся в веках, как памятник упорного труда, сделанного гением... Не зная Толстого — нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком».

По необычайной мощности своего колоссального художественного дарования, по богатству и разнообразию образов, по глубине проникновения в психологию своих героев, по обилию чисто поэтических красот — Л. Н. Толстой принадлежит к числу величайших мировых писателей. Его большие романы: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», так же как десятки его меньших по размеру, но не менее замечательных повестей и рассказов, переведены на все европейские языки и являются шедеврами мировой литературы. Вместе с тем Лев Толстой — это наш русский национальный гений, патриот своей родины, горячо любящий свой народ и прежде всего — народ трудовой.

Лев Толстой родился и прожил большую часть своей жизни в усадьбе Ясная Поляна, Тульской области. Как изображенный им Левин в «Анне Карениной», он «с молоком бабы-кормилицы» впитал в себя «уважение и какую-то кровную любовь» к русскому трудовому крестьянству и сохранил ее до конца своей жизни. Ему была понятна и близка

психология крестьянина; он знал и любил его быт, его нравы; он восторгался народным языком, народной музыкой, народным песенным и былинным творчеством. Устами героя своей повести «Семейное счастье» (1859) Толстой говорил:

— Народ везде отличный! Чем больше его знаешь, тем больше любишь.

В статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» В. И. Ленин писал: «Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы» (В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 405). Еще более определенно высказывался Ленин об этой стороне творчества Толстого в беседе с Горьким. В своих воспоминаниях «Владимир Ленин» Горький приводит следующие слова Ленина о Толстом:

«— Какая глыба, а? Какой матёрый человечище! Вот это, батенька, художник! И, — знаете, что еще изумительно? До этого графа — подлинного мужика в литературе не было.»

В целом ряде своих произведений Толстой в ярких художественных образах обрисовал жизнь, быт и психику русского крестьянина его времени. В рассказах «Утро помещика» и «Поликушка» изображены жизнь и судьбы крепостных крестьян. В рассказе «Три смерти» раскрывается спокойное, твердое отношение к смерти человека из народа — старого ямщика. Повесть «Казаки» дает картины жизни трудового кавказского казачества. В «Севастопольских рассказах» и особенно в романе «Война и мир» мы видим русский народ на войне — его героизм, стойкость и мужество в защите своей родины. В романе «Воскресение» находим яркое изображение земельной нужды крестьян и отношения их к помещикам.

Толстой восхищался русским трудовым народом, его моральной и физической силой, его выносливостью, стойкостью и выдержкой в труде, его стремлением к справедливости, мужеством во время опасности.

Всей душой любя и глубоко уважая русский трудовой народ, Толстой скорбел об угнетении его самодержавным правительством и правящими классами. «Половина русского крестьянства, — писал Толстой, — живет так, что для него вопрос не в том, как улучшить свое положение, а только в том, как не умереть с семьей от голода». Положение рабочих в царской России Толстой называл «рабством нашего времени», подобным положению крепостных при крепостном праве.

Относительно самодержавия Толстой писал 16 января 1902 года царю Николаю II, что «самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке... но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением». Толстой не дожил до падения царской власти, но он его предвидел. Во время революции 1905 года Толстой обратился к правительству Николая II со следующими словами: «Вы желаете одного: удержаться в том выгодном положении, в котором вы находитесь. И потому вам не устоять против революции с

вашим знаменем самодержавия, хотя бы и с конституционными поправками, и извращенного христианства, называемого православием».

В период реакции, в 1908 году, когда правительство торжествовало свою временную победу над революцией и посредством казней, тюрем и ссылок жестоко расправлялось с революционерами, — Толстой написал прогремевшую на весь мир статью «Не могу молчать», полную гневного обличения правительства Николая II и его министра внутренних дел Столыпина, которых он называл «главными палачами».

Толстой признавал, что его творчество, как и творчество всех крупных русских писателей, корнями своими уходит в творчество народное.

«Мы все, — сказал он однажды, — учимся у народа. Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин, Гоголь, и даже о Чехове это можно сказать, да и я».

Толстой утверждал, что произведения народного творчества будут жить вечно и никогда не умрут. «Песни, сказки, былины — всё простое — будут читать, пока будет русский язык». — писал он Н. Н. Страхову 25 марта 1872 года. Он пригласил к себе в Ясную Поляну летом 1879 года известного сказителя былин, олонецкого крестьянина В. П. Щеголенкова, со слов которого записал несколько народных легенд и рассказов, впоследствии использованных им в своих произведениях.

Толстой восторгался также и русским народным языком. «Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, мне мил, — писал он в том же письме к Страхову. — Язык этот, кроме того, и это главное, — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит». Народному языку Толстой учился не только у яснополянских крестьян. Так, он ходил на Киевское шоссе, пролегавшее невдалеке от Ясной Поляны, и тут заговаривал с проходившими мимо прохожими, странниками, рабочими, уходившими из своих мест на отхожие промыслы. При нем всегда была записная книжка, в которую он и заносил все услышанные им характерные народные слова и выражения. Ими Толстой пользовался затем в своих художественных произведениях.

С любовью и мастерством великого художника изображал Толстой в своих произведениях родную природу. Нарисованные им картины русской природы ярки и разнообразны. Не ограничиваясь чисто созерцательным изображением природы, Толстой рисует также и картины народного труда. Такова картина хлебной уборки в «Детстве» и косьбы Левина с крестьянами в «Анне Карениной». Эти главы «Анны Карениной» — настоящий гимн труду. В повести «Казаки» находим чарующие картины кавказской природы.

Толстой внимательно и серьезно изучал историю русского народа. Читая «Историю России» Соловьева, он набрасывает в записной книжке мысли о роли народа в истории русского государства.

Как известно, Толстой поступил на военную службу в 1851 году, на Кавказе, где и участвовал в нескольких стычках с горцами. Здесь Тол-

стой наблюдал в боевой обстановке солдат и офицеров русской армии. Здесь он лично видел примеры беззаветной храбрости русских воинов, в соединении с необыкновенной простотой и скромностью. В рассказе «Набег» находим замечательное определение особенного характера именно русской храбрости:

«...В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», сказалось мне невольно.

Он был точно таким же, каким я всегда видал его: те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: таким же, как и всегда. Но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

Француз, который при Ватерлоо сказал: «la garde meurt, mais ne se rend pas»[1] и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости...»

В конце 1853 года началась русско-турецкая война, и Толстой перевелся в действующую Дунайскую армию. В ноябре 1854 года он приехал в Севастополь, который уже в течение нескольких месяцев выдерживал осаду. Первое чувство, испытанное им в Севастополе, было потом выражено им в рассказе «Севастополь в декабре месяце» в следующих словах: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникнуло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах».

В первый же месяц своего пребывания в Севастополе Толстой убедился в полной негодности тогдашнего государственного устройства России. «Я больше чем прежде, — писал он в дневнике 23 ноября 1854 года, — убедился, что Россия или должна пасть или совершенно преобразоваться». «Все идет навыворот, неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же с меньшими силами, ни откуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь, стоим

---

[1] гвардия умирает, но не сдается.

против неприятеля и ожидаем бурь и непогод, которые пошлет Николай-чудотворец».

Но вместе с этими отрицательными впечатлениями от некоторых руководителей армии Толстой увидал и другое: он увидал безграничное мужество и самоотвержение солдат, готовых до своего последнего вздоха защищать родину, не боясь ни лишений, ни опасностей, ни самой смерти. И то, что он увидал в простых солдатах русской армии, приводило его в восторг.

Этот героизм и мужество защитников Севастополя Толстой глубоко и прочувственно отразил в своем рассказе «Севастополь в декабре месяце». «Надолго, — говорит Толстой в заключении этого рассказа, — оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский».

«Севастопольские рассказы» послужили для Толстого только этюдом для его грандиозного творения — величественной народно-исторической эпопеи «Война и мир».

«Война и мир» заняла у автора семь лет упорного, напряженного труда (1863—1869). По мере писания романа замысел автора все расширялся и углублялся. Сначала Толстой имел намерение написать роман из жизни одного из участников восстания декабристов 1825 года. Но вскоре он увидал, что, описывая молодость своего героя, он должен коснуться наполеоновских войн, в которых его декабрист будет принимать участие. И Толстой начал свой роман с войны русских с Наполеоном в 1805 году.

Первоначально Толстой думал написать семейно-бытовой роман на фоне исторических событий. Чтобы не погрешить в описании исторических фактов, а также нравов и обычаев того времени, Толстой усердно принялся за изучение нужных ему исторических материалов. «Когда я пишу историческое, — говорит Толстой в одном из писем, — я люблю быть до малейших подробностей верным действительности». Он перечитал множество исторических сочинений и воспоминаний об интересовавшей его эпохе. И у него зарождается новый план романа. 19 марта 1865 года он записывает у себя в дневнике: «Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю — роман Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей, их окружавших, и их самих».

Но дальнейшее углубленное изучение исторических событий привело Толстого к убеждению, что героем войны 1812 года является не Наполеон, не Александр, не окружавшие их лица, а русский народ. Это он, русский народ, в 1812 году победил 600-тысячную армию Наполеона и изгнал ее из своей земли. И русский народ становится центральным героем произведения Толстого. «Я старался писать историю народа», — говорит сам автор в одной из черновых заметок по поводу своего романа. Жена Толстого записала следующие его слова: «Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так, в «Войне и

мире» я любил мысль народную вследствие войны двенадцатого года».

Эта «народная мысль» проникает все великое творение Толстого.

Толстой изображает, как вторжение Наполеона в Россию вызвало в русском народе — как в армии, так и в гражданском населении—могучую волну патриотического чувства.

«Как только неприятель подходил, — говорит Толстой, — богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество, беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что оставалось». Так было в Смоленске, так было и в Москве. «Для русских людей,—утверждает Толстой, — не могло быть вопроса о том, хорошо или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего».

Русская армия, в изображении Толстого, всегда в бодром, веселом настроении духа. Такова она в походах, и даже тогда, когда вследствие затруднений транспорта нехватает продовольствия и люди голодают; такова она перед сражениями и во время самих сражений. Рисуя подготовку Шенграбенского сражения, Толстой говорит: «Чем ближе подъезжал князь Андрей к цепи французов, тем самоувереннее становился вид наших войск... Все лица были такие спокойные, как будто все происходило не в виду неприятеля, перед делом, где должна будет остаться на месте по крайней мере половина отряда, а как будто где-нибудь на родине, в ожидании спокойной стоянки». Успех Шенграбенского сражения, по описанию Толстого, был обусловлен главным образом действиями артиллерийской батареи капитана Тушина. Описывая действия этой батареи, Толстой говорит, что несмотря на то, что в продолжение часа из сорока людей прислуги выбыло семнадцать, «артиллеристы все так же были веселы и оживленны».

После вторжения французских войск в Россию у всего русского народа появляется одна цель: «изгнание французов из России и истребление их армии». Война принимает народный характер. Выразителем воли народа в этой войне был главнокомандующий русской армии Кутузов.

Кутузов по многим причинам особенно дорог и близок Толстому. Кутузова назначил царь Александр I главнокомандующим против своего желания, по единодушному голосу армии. Кутузов жалеет кровь русских солдат; он говорит: «За десять французов я не отдам одного русского». В своем обращении Кутузов прост, чужд всякой аффектации, напыщенности, искусственного пафоса. Кутузов, по мнению Толстого, «носил в себе народное чувство во всей чистоте и силе его», он был «необходим для спасения и славы России». Кутузов — это «простая, скромная и потому истинно величественная фигура».

Бородинское сражение рассматривается Толстым как победа русских войск, несмотря на то, что после этого сражения русская армия должна была продолжать отступление. Русские не дрогнули перед французами, превосходившими их численностью, и не отступили с поля сражения. В Бородинском сражении французская армия, которой предводительствовал

знаменитый полководец, до сих пор побеждавший во всех войнах, получила смертельную рану, от которой не могла оправиться. Все дальнейшие события: оставление Наполеоном Москвы, бегство его армии, падение наполеоновской монархии — были, по мнению Толстого, следствием того смертельного удара, который французская армия получила под Бородиным. Под Бородиным на наполеоновскую Францию «в первый раз была наложена рука сильнейшего духом противника». Дух армии, ее моральная сила или слабость являются, по мнению Толстого, главнейшим фактором, определяющим победу или поражение. В русской армии в 1812 году дух этот был очень высок: вся армия и весь русский народ, были охвачены одним желанием: «очистить свою землю от нашествия».

Полны патриотического одушевления все положительные герои произведения Толстого: и храбрый полковой командир князь Андрей Болконский, смертельно раненный под Бородиным, и его друг Пьер Безухов, и очаровательная Наташа Ростова, типичная русская девушка, которая сбрасывает с отъезжающих из горящей Москвы подвод вещи ее семьи, чтобы на этих подводах вывезти раненых.

Большое внимание уделяет Толстой описанию партизанской войны. Он говорит, что партизанские действия «всегда проявляются в войне, принимающей народный характер». В 1812 году партизанская война возникла не по приказанию правительства, не по предписанию главнокомандующего: она возникла независимо от правительства и главнокомандующего, стихийно, в самом народе. «Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, — говорит Толстой, — уже тысячи людей неприятельской армии — отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку».

Толстой рисует перед нами несколько типов русских партизан двенадцатого года. Это, во-первых, офицер Василий Денисов, энтузиаст партизанского движения, утверждающий, что для борьбы с Наполеоном может быть «только одна система — партизанская», не робеющий ни перед неприятелем, ни перед начальством, бесстрашный в сражениях, выговаривающий своему подчиненному за то, что он нагибается под пулями («Кто там кланяется? Юнкер Миронов, нехорошо! на меня смотрите».) Многие характерные черты этого типа взяты Толстым с действительного лица — поэта-партизана Дениса Давыдова.

Другой офицер — Долохов, удалая сорви-голова, проникающий во французском мундире в глубь французского лагеря, узнающий там все, что ему нужно знать, и затем нападающий со своим небольшим отрядом на французский отряд, во много раз превосходящий его численностью. Наконец это крестьянин Тихон Щербатый, «самый полезный и храбрый человек партии». Это представитель того русского трудового крестьянства, которое, не стерпев разорений и унижений, причиняемых ему французами, взялось за оружие, чтобы истреблять «мародеров».

Толстой превозносит народную партизанскую войну, которую он счи-

тает «страшным орудием». Партизанская война, говорит Толстой, была отступлением от правил войны; «со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война, все это были отступления от правил».

Наполеон жаловался на то, что русские вели войну не по правилам. Несмотря на эти жалобы, говорит Толстой, «дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». И уже прямо от себя автор нашей народно-героической эпопеи с глубоким воодушевлением провозглашает:

«И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передают ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью».

Полны глубокого смысла и значения те главы произведения Толстого, где говорится о восстановлении Москвы после разрушений, произведенных в ней пожаром и нашествием французов: «Все было разрушено, — пишет автор, — кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого». Это «невещественное, но могущественное и неразрушимое», был созидательный дух русского народа. Русский народ, нашедший в себе силу изгнать из своих пределов огромную армию чужеземных захватчиков, нашел силы также и для того, чтобы восстановить нормальное течение своей жизни, нарушенное вторжением неприятеля.

В наши дни исполинской битвы свободолюбивых народов всего мира с германским фашизмом «Война и мир» сделалась одной из самых популярных книг не только у нас, но и в других странах — в Англии и в Америке.

«Война и мир» как и все бессмертные творения Льва Толстого приобретает особенное значение в наше время, когда народы Советского Союза и свободолюбивые народы всех стран объединили все свои силы для того, чтобы сокрушить злейшего врага человечества — гитлеризм.

Н. Гусев

I

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темносиняя поверхность моря уже сбросила с себя сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет— всё черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка перерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет 8-я стклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу, где высокая тяжелая м а д ж а р а на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. — кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который дымясь стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами, — причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте! — предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте; и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кое-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырики, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе...

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина[1] держите, — скажет вам старик матрос, оборотившись назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке,— вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все, — заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, — заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало, — скажет мальчик, после дол-

---

[1] Корабль «Константин».

того молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это он с новой батареи нынче палит,— прибавил старик, равнодушно поплевывая на руку. — Ну, навались, Мишка, баркас перегоним.—И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: «сбитень горячий», и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные козла; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кое-где проедет казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, — везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни

было — поить лошадей или таскать орудия — так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы всё это происходило где-нибудь в Туле или Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу.

Да, вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости: ничего этого нет — вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида, и звуков с Северной стороны. Но прежде, чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и у крыльца которого стоят солдаты с носилками; вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах 40 или 50 ампутационных и самых тяжелораненых больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, — это дурное чувство — идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли с м о т р е т ь на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите по середине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого, исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенес их.

— В ногу, — отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. — Слава богу теперь, — прибавляет он: — на выписку хочу.

— А как давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие.

— Что же болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит ничего; только как будто в икре ноет, когда погода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом бастионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить этаким манером к другой амбразуре, как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, н е д у м а т ь м н о г о: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в серењком полосатом платье, повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки с тем, чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему 25 рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион с тем, чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может.

Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

— Это хозяйка моя, ваше благородие, — замечает вам матрос с таким выражением, как будто извиняется за нее перед вами, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело — глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову,— и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

— Ну, дай бог тебе поскорее поправиться, — говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

— Что он, без памяти? — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

— Нет, еще слышит, да уж очень плох, — прибавляет она шопотом. — Я его нынче чаем поила, — что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь, — так уж не пил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

— У сердце г х о р и т ь.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она выщелущена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это — существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное-бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

— Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, — скажет вам ваша путешественница, — она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали...

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными, угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый, под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое, здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит в той же комнате другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а уви-

Ленинградская Областная Библиотека

дите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы.

«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении со столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов; но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннею жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров; купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры — всё говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело 24-го, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

— Чорт возьми, как нынче у нас плохо, — говорит басом белобрысенький, безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

— Где у нас? — спрашивает его другой.

— На четвертом бастионе, — отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! Плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего коменда убило, прямо в лоб влепило», скажет другой. «Кого это? Митюхина?» — «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи! — прибавит он к трактирному слуге. — Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочки, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком всё страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее итти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «я иду на четвертый бастион», непременно заметно в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «тебя бы поставить

на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «откуда?» большей частью отвечают: «с четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморозь сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречается женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин — камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно: солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками, и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он

ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы в то самое время, как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете — и совсем иначе, чем понимали прежде — значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении, собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору по жидкой грязи, рысью со смехом бежит мимо вас, — вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались на гору, справа и слева начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не итти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более, что вы видите, все идут по дороге. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое, грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов; где по середине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка; где пехотный солдатик с ружьем, переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи; везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра; со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль—жужжащие, как пчела, свистящие,

быстрые или визжащие, как струна, — слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место», думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут — место, сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы итти на четвертый бастион, возьмите направо по этой узкой траншее, по которой нагнувшись побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами; увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые согнувшись могут влезть только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам—но только, ежели вы его расспросите — про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро шестого он палил[1] из всех

[1] Моряки все говорят палить, а не стрелять.

орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам на амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь, как в 30—40 саженях. Одного я боюсь, что, под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель — о н, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», — и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но всё существо ваше гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед затем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, — это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую а б р а з у р у попала; кажись, убило двух... вон понесли», услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас

пустит сюда», скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «п-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вкруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия; неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «пушка!» — и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «маркела» [1]— и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль о ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас, но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще и поближе упало около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «маркела!», еще посвистывание, удар и разрыв бомбы, но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный, нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его виден один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то

---

[1] Мортира.

время, как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усильем поднимается выше; и в то время, как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!», еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно размахивая руками, возвращается к своему орудию...

«Это вот каждый день этак человек семь или восемь», говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папироску из желтой бумаги...

. . . . . .

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, — идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное отрадное убеждение, которое вы вынесли, это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, — и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитро сплетенных траншей, мин и орудий одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все

люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, — временах, когда этот герой, достойный древней Греции, Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем, ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину... Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь, 1855 года, 25 апреля

«ВОЙНА И МИР»

(Отрывки)

1

ШЕНГРАБЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
ГЕНЕРАЛ БАГРАТИОН И КАПИТАН ТУШИН

(Том I, часть II, гл. XVII—XX)

Князь Андрей верхом остановился на батарее, глядя на дым орудия, из которого вылетело ядро. Глаза его разбегались по обширному пространству. Он видел только, что прежде неподвижные массы французов заколыхались, и что налево действительно была батарея. На ней еще не разошелся дымок. Французские два конные, вероятно, адъютанта, проскакали по горе. Под гору, вероятно, для усиления цепи, двигалась явственно видневшаяся небольшая колонна неприятеля. Еще дым первого выстрела не рассеялся, как показался другой дымок и выстрел. Сражение началось. Князь Андрей повернул лошадь и поскакал назад в Грунт отыскивать князя Багратиона. Сзади себя он слышал, как канонада становилась чаще и громче. Видно, наши начинали отвечать. Внизу, в том месте, где проезжали парламентеры, послышались ружейные выстрелы.

Лемарруа (Lemarrois) с грозным письмом Бонапарта только что прискакал к Мюрату, и пристыженный Мюрат, желая загладить свою ошибку, тотчас же двинул свои войска на центр и в обход обоих флангов, надеясь еще до вечера и до прибытия императора раздавить ничтожный, стоявший перед ним отряд.

«Началось! Вот оно!» думал князь Андрей, чувствуя, как кровь начинала приливать к его сердцу. «Но где же? как же выразится мой Тулон?» думал он.

Проезжая между тех же рот, которые ели кашу и пили водку четверть часа тому назад, он везде видел одни и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья солдат, и на всех лицах узнавал он то чувство оживления,

которое было в его сердце. «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» говорило лицо каждого солдата и офицера.

Не доехав еще до строившегося укрепления, он увидел в вечернем свете пасмурного осеннего дня подвигавшихся ему навстречу верховых. Передовой, в бурке и картузе со смушками, ехал на белой лошади. Это был князь Багратион. Князь Андрей остановился, ожидая его. Князь Багратион приостановил свою лошадь и, узнав князя Андрея, кивнул ему головой. Он продолжал смотреть вперед, в то время как князь Андрей говорил ему то, что́ он видел.

Выражение: «началось! вот оно!» было даже и на крепком карем лице Багратиона с полузакрытыми, мутными, как будто невыспавшимися глазами. Князь Андрей с беспокойным любопытством вглядывался в это неподвижное лицо, и ему хотелось знать, думает ли и чувствует, и что думает, что чувствует этот человек в эту минуту. «Есть ли вообще что-нибудь там, за этим неподвижным лицом?» спрашивал себя князь Андрей, глядя на него. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия на слова князя Андрея и сказал: «Хорошо», с таким выражением, как будто все то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что он уже предвидел. Князь Андрей, запыхавшись от быстроты езды, говорил быстро. Князь Багратион произносил слова с своим восточным акцентом особенно медленно, как бы внушая, что торопиться некуда. Он тронул, однако, рысью свою лошадь по направлению к батарее Тушина. Князь Андрей вместе со свитой поехал за ним. За князем Багратионом ехали: свитский офицер, личный адъютант князя Жерков, ординарец, дежурный штаб-офицер на энглизированной красивой лошади и статский чиновник, аудитор, который из любопытства попросился ехать в сражение. Аудитор, полный мужчина с полным лицом, с наивною улыбкой радости оглядывался вокруг, трясясь на своей лошади, представляя странный вид в своей камлотовой шинели на фурштатском седле среди гусар, казаков и адъютантов.

— Вот хочет сраженье посмотреть, — сказал Жерков

Болконскому, указывая на аудитора, — да под ложечкой уж заболело.

— Ну, полно вам, — проговорил аудитор с сияющею, наивною и вместе хитрой улыбкой, как будто ему лестно было, что он составляет предмет шуток Жеркова, и как будто он нарочно старался казаться глупее, чем он был в самом деле.

—Très drôle, mon monsieur prince[1],— сказал дежурный штаб-офицер. (Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул князь, и никак не мог наладить.)

В это время они все уже подъезжали к батарее Тушина, и впереди их ударилось ядро.

— Что ж это упало? — наивно улыбаясь, спросил аудитор.

— Лепешки французские, — сказал Жерков.

— Этим-то бьют, значит? — спросил аудитор. — Страсть-то какая.

И он, казалось, распускался весь от удовольствия. Едва он договорил, как опять раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое, и ш-ш-ш-шлеп, — казак, ехавший несколько правее и сзади аудитора, с лошадью рухнулся на землю. Жерков и дежурный штаб-офицер пригнулись к седлам и прочь поворотили лошадей. Аудитор остановился против казака, со внимательным любопытством рассматривая его. Казак был мертв, лошадь еще билась.

Князь Багратион прищурившись оглянулся и, увидав причину происшедшего замешательства, равнодушно отвернулся, как будто говоря: «стоит ли глупостями заниматься!» Он остановил лошадь, с приемом хорошего ездока, несколько перегнулся и выправил зацепившуюся за бурку шпагу. Шпага была старинная, не такая, какие носились теперь. Князь Андрей вспомнил рассказ о том, как Суворов в Италии подарил свою шпагу Багратиону, и ему в эту минуту особенно приятно было это воспоминание. Они подъехали к той самой батарее, у которой стоял Болконский, когда рассматривал поле сражения.

---

[1] Очень забавно, мой господин князь.

— Чья рота? — спросил князь Багратион у фейерверкера, стоявшего у ящиков.

Он спрашивал: «чья рота?», а в сущности он спрашивал: «уж не робеете ли вы тут?» И фейерверкер понял это.

— Капитана Тушина, ваше превосходительство, — вытягиваясь закричал веселым голосом рыжий, с покрытым веснушками лицом фейерверкер.

— Так, так, — проговорил Багратион, что-то соображая, и мимо передков проехал к крайнему орудию.

В то время как он подъезжал, из орудия этого, оглушая его и свиту, зазвенел выстрел, и в дыму, вдруг окружившем орудие, видны были артиллеристы, подхватившие пушку и, торопливо напрягаясь, накатывавшие ее на прежнее место. Широкоплечий огромный солдат 1-й нумер с банником, широко расставив ноги, отскочил к колесу. 2-й нумер трясущеюся рукой клал заряд в дуло. Небольшой сутуловатый человек, офицер Тушин, спотыкнувшись на хобот, выбежал вперед, не замечая генерала и выглядывая из-под маленькой ручки.

— Еще две линии прибавь, как раз так будет, — закричал он тоненьким голоском, которому он старался придать молодцеватость, не шедшую к его фигуре. — Второе, — пропищал он. — Круши, Медведев!

Багратион окрикнул офицера, и Тушин, робким и неловким движением, совсем не так, как салютуют военные, а так, как благословляют священники, приложив три пальца к козырьку, подошел к генералу. Хотя орудия Тушина были назначены для того, чтобы обстреливать лощину, он стрелял брандскугелями по видневшейся впереди деревне Шенграбен, перед которой выдвигались большие массы французов.

Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись с своим фельдфебелем Захарченком, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню. «Хорошо!» сказал Багратион на доклад офицера и стал оглядывать всё открывавшееся пред ним поле сражения, как бы что-то соображая. С правой стороны ближе всего подошли французы. Пониже высоты, на которой стоял Киевский полк, в лощине речки слышалась хватающая за

душу перекатная трескотня ружей, и гораздо правее, за драгунами, свитский офицер указывал князю на обходившую наш фланг колонну французов. Налево горизонт ограничивался близким лесом. Князь Багратион приказал двум батальонам из центра итти на подкрепление направо. Свитский офицер осмелился заметить князю, что по уходе этих батальонов орудия останутся без прикрытия. Князь Багратион обернулся к свитскому офицеру и тусклыми глазами посмотрел на него молча. Князю Андрею казалось, что замечание свитского офицера было справедливо и что действительно сказать было нечего. Но в это время прискакал адъютант от полкового командира, бывшего в лощине, с известием, что огромные массы французов шли низом, что полк расстроен и отступает к киевским гренадерам. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия и одобрения. Шагом поехал он направо и послал адъютанта к драгунам с приказанием атаковать французов. Но посланный туда адъютант приехал через полчаса с известием, что драгунский полковой командир уже отступил за овраг, ибо против него был направлен сильный огонь, и он понапрасну терял людей и потому спешил стрелков в лес.

— Хорошо! — сказал Багратион.

В то время как он отъезжал от батареи, налево тоже послышались выстрелы в лесу, и так как было слишком далеко до левого фланга, чтоб успеть самому приехать вовремя, князь Багратион послал туда Жеркова сказать старшему генералу, тому самому, который представлял полк Кутузову в Браунау, чтоб он отступил сколь можно поспешнее за овраг, потому что правый фланг, вероятно, не в силах будет долго удерживать неприятеля. Про Тушина же и батальон, прикрывавший его, было забыто. Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя Багратиона с начальниками и к отдаваемым им приказаниям и к удивлению замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благодаря такту, который вы-

казывал князь Багратион, князь Андрей замечал, что, несмотря на эту случайность событий и независимость их от воли начальника, присутствие его сделало чрезвычайно много. Начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею храбростью.

Князь Багратион, выехав на самый высокий пункт нашего правого фланга, стал спускаться книзу, где слышалась перекатная стрельба и ничего не видно было от порохового дыма. Чем ближе они спускались к лощине, тем менее им становилось видно, но тем чувствительнее становилась близость самого настоящего поля сражения. Им стали встречаться раненые. Одного, с окровавленной головой, без шапки, тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот или в горло. Другой, встретившийся им, бодро шел один, без ружья, громко охая и махая от свежей боли рукою, из которой кровь лилась, как из стклянки, на его шинель. Лицо его казалось больше испуганным, чем страдающим. Он минуту тому назад был ранен. Переехав дорогу, они стали круто спускаться и на спуске увидали несколько человек, которые лежали; им встретилась толпа солдат, в числе которых были и не раненые. Солдаты шли в гору, тяжело дыша, и, несмотря на вид генерала, громко разговаривали и махали руками. Впереди в дыму уже были видны ряды серых шинелей, и офицер, увидав Багратиона, с криком побежал за солдатами, шедшими толпой, требуя, чтоб они воротились. Багратион подъехал к рядам, по которым то там, то здесь быстро щелкали выстрелы, заглушая говор и командные крики. Весь воздух пропитан был пороховым дымом. Лица солдат все были закопчены порохом и оживлены. Иные забивали шомполами, другие подсыпали на полки, доставали заряды из сумок, третьи стреляли. Но в кого они стреляли, этого не было видно от порохового дыма, не уносимого ветром. Довольно часто слышались приятные звуки жужжанья

и свистения. «Что это такое? — думал князь Андрей, подъезжая к этой толпе солдат. — Это не может быть цепь, потому что они в куче. Не может быть атака, потому что они не двигаются; не может быть карре: они не так стоят».

Худощавый, слабый на вид старичок, полковой командир, с приятною улыбкой, с веками, которые больше чем наполовину закрывали его старческие глаза, придавая ему кроткий вид, подъехал к князю Багратиону и принял его, как хозяин дорогого гостя. Он доложил князю Багратиону, что против его полка была конная атака французов, но что, хотя атака эта отбита, полк потерял больше половины людей. Полковой командир сказал, что атака была отбита, придумав это военное название тому, что происходило в его полку; но он действительно сам не знал, что происходило в эти полчаса во вверенных ему войсках, и не мог с достоверностью сказать, была ли отбита атака или полк его был разбит атакой. В начале действий он знал только то, что по всему его полку стали летать ядра и гранаты и бить людей, что потом кто-то закричал: «конница», и наши стали стрелять. И стреляли до сих пор уже не в конницу, которая скрылась, а в пеших французов, которые показались в лощине и стреляли по нашим. Князь Багратион наклонил голову в знак того, что все это совершенно так, как он желал и предполагал. Обратившись к адъютанту, он приказал ему привести с горы два батальона 6-го егерского, мимо которых они сейчас проехали. Князя Андрея поразила в эту минуту перемена, происшедшая в лице князя Багратиона. Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег. Не было ни невыспавшихся, тусклых глаз, ни притворно-глубокомысленного вида: круглые твердые, ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели вперед, очевидно, ни на чем не останавливаясь, хотя в его движениях оставалась прежняя медленность и размеренность.

Полковой командир обратился к князю Багратиону, упрашивая его отъехать назад, так как здесь было слишком опасно. «Помилуйте, ваше сиятельство, ради бога!» говорил он, за

подтверждением взглядывая на свитского офицера, который отвертывался от него. «Вот, изволите видеть!» Он давал заметить пули, которые беспрестанно визжали, пели и свистали около них. Он говорил таким тоном просьбы и упрека, с каким плотник говорит взявшемуся за топор барину: «наше дело привычное, а вы ручки намозолите». Он говорил так, как будто его самого не могли убить эти пули, и его полузакрытые глаза придавали его словам еще более убедительное выражение. Штаб-офицер присоединился к увещаниям полкового командира, но князь Багратион не отвечал им и только приказал перестать стрелять и построиться так, чтобы дать место подходившим двум батальонам. В то время, как он говорил, будто невидимою рукой потянулся справа налево, от поднявшегося ветра, полог дыма, скрывавший лощину, и противоположная гора с двигающимися по ней французами открылась перед ними. Все глаза были невольно устремлены на эту французскую колонну, подвигавшуюся к ним и извивавшуюся по уступам местности. Уже видны были мохнатые шапки солдат; уже можно было отличить офицеров от рядовых; видно было, как трепалось о древко их знамя.

— Славно идут, — сказал кто-то в свите Багратиона.

Голова колонны спустилась уже в лощину. Столкновение должно было произойти на этой стороне спуска...

Остатки нашего полка, бывшего в деле, поспешно строясь, отходили вправо; из-за них, разгоняя отставших, подходили стройно два батальона 6-го егерского. Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу всею массой людей. С левого фланга шел ближе всех к Багратиону ротный командир, круглолицый, статный мужчина, с глупым, счастливым выражением лица, тот самый, который выбежал из балагана. Он, видимо, ни о чем не думал в эту минуту, кроме того, что он молодцом пройдет мимо начальства.

С фрунтовым самодовольством он шел легко на мускулистых ногах, точно он плыл, без малейшего усилия вытягиваясь и отличаясь этою легкостью от тяжелого шага солдат, шедших по его шагу. Он нес у ноги вынутую тоненькую,

узенькую шпагу (гнутую шпажку, не похожую на оружие) и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы наилучшим образом пройти мимо начальства, и чувствуя, что он исполняет это дело хорошо, он был счастлив. «Левой... левой... левой...», казалось, внутренно приговаривал он через каждый шаг, и по этому такту с разнообразно-строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, как будто каждый из этих сотен солдат мысленно через шаг приговаривал: «левой... левой... левой...» Толстый майор, пыхтя и разразнивая шаг, обходил куст по дороге; отставший солдат, запыхавшись, с испуганным лицом за свою неисправность, рысью догонял роту; ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Багратиона и свиты и в такт: «левой, левой!» ударилось в колонну. «Сомкнись!» послышался щеголяющий голос ротного командира. Солдаты дугой обходили что-то в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнув переменил ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. «Левой... левой... левой...», казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука единовременно ударяющих о землю ног.

— Молодцами, ребята! — сказал князь Багратион.

«Ради...ого-го-го-го-го!..» раздалось по рядам. Угрюмый солдат, шедший слева, крича оглянулся глазами на Багратиона с таким выражением, как будто говорил: «сами знаем»; другой, не оглядываясь и как будто боясь развлечься, разинув рот, кричал и проходил.

Велено было остановиться и снять ранцы.

Багратион объехал прошедшие мимо его ряды и слез с лошади. Он отдал казаку поводья, снял и отдал бурку, расправил ноги и поправил на голове картуз. Голова французской колонны, с офицерами впереди, показалась из-под горы.

— С богом! — проговорил Багратион твердым слышным голосом, на мгновение обернулся к фронту и слегка разма-

хивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы трудясь, пошел вперед по неровному полю. Князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал большое счастие [1].

Уже близко становились французы; уже князь Андрей, шедший рядом с Багратионом, ясно различал перевязи, красные эполеты, даже лица французов. (Он ясно видел одного старого французского офицера, который вывернутыми ногами в штиблетах, придерживаясь за кусты, с трудом шел в гору.) Князь Багратион не давал нового приказания и все так же молча шел перед рядами. Вдруг между французами треснул один выстрел, другой, третий... и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнесся дым и затрещала пальба. Несколько человек наших упало, в том числе и круглолицый офицер, шедший так весело и старательно. Но в то же мгновение как раздался первый выстрел, Багратион оглянулся и закричал: «Ура!»

«Ура-а-а-а!» протяжным криком разнеслось по нашей линии и, обгоняя князя Багратиона и друг друга, нестройною, но веселою и оживленною толпой побежали наши под гору за расстроенными французами.

Атака 6-го егерского обеспечила отступление правого фланга. В центре действие забытой батареи Тушина, успевшего зажечь Шенграбен, останавливало движение французов. Французы тушили пожар, разносимый ветром, и давали время отступать. Отступление центра через овраг совершалось поспешно и шумно; однако войска, отступая, не путались командами. Но левый фланг, который единовременно

---

[1] Тут произошла та атака, про которую Тьер говорит: «Les russes se conduisirent vaillamment, et chose rare à la guerre, on vit deux masses d'infanterie marcher résolument l'une contre l'autre sans qu'aucune des deux céda avant d'être abordée»; а Наполеон на острове св. Елены сказал: «Quelques bataillons russes montrèrent de l'intrepidité». (Русские вели себя доблестно, и—вещь редкая на войне—две массы пехоты шли решительно одна против другой, и ни одна из двух не уступила до самого столкновения.) Слова Наполеона: «Несколько русских батальонов проявили бесстрашие».

был атакован и обходим превосходными силами французов под начальством Ланна и который состоял из Азовского и Подольского пехотных и Павлоградского гусарского полков, был расстроен. Багратион послал Жеркова к генералу левого фланга с приказанием немедленно отступать.

Жерков бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. Но едва только он отъехал от Багратиона, как силы изменили ему. На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где было опасно.

Подъехав к войскам левого фланга, он поехал не вперед, где была стрельба, а стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло быть, и потому не передал приказания.

Командование левым флангом принадлежало по старшинству полковому командиру того самого полка, который представлялся под Браунау Кутузову и в котором служил солдатом Долохов. Командование же крайнего левого фланга было предназначено командиру Павлоградского полка, где служил Ростов, вследствие чего произошло недоразумение. Оба начальника были сильно раздражены друг против друга, и в то самое время, как на правом фланге давно уже шло дело и французы уже начали наступление, оба начальника были заняты переговорами, которые имели целью оскорбить друг друга. Полки же, как кавалерийский, так и пехотный, были весьма мало приготовлены к предстоящему делу. Люди полков, от солдата до генерала, не ждали сражения и спокойно занимались мирными делами: кормлением лошадей — в коннице, собиранием дров — в пехоте.

— Есть он, однако, старше моего в чином, — говорил немец, гусарский полковник, краснея и обращаясь к подъехавшему адъютанту, — то оставляй его делать, как он хочет. Я своих гусар не могу жертвовать. Трубач! играй отступление!

Но дело становилось к спеху. Канонада и стрельба сливаясь гремели справа и в центре, и французские капоты стрелков Ланна проходили уже плотину мельницы и выстраивались на этой стороне в двух ружейных выстрелах. Пехотный полковник вздрагивающею походкой подошел к ло-

шади и, взлезши на нее и сделавшись очень прямым и высоким, поехал к павлоградскому командиру. Полковые командиры съехались с учтивыми поклонами и со скрываемою злобой в сердце.

— Опять-таки, полковник, — говорил генерал, — не могу я, однако, оставить половину людей в лесу. Я вас прошу, я вас прошу, — повторил он, — занять позицию и приготовиться к атаке.

— А вас прошу не мешивайться не свое дело, — отвечал горячась полковник. — Коли бы вы были кавалерист...

— Я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и ежели вам это не известно...

— Очень известно, ваше превосходительство, — вдруг вскрикнул, трогая лошадь, полковник, и делаясь красно-багровым.— Не угодно ли пожаловать в цепи, и вы будете посмотрейть, что этот позиция никуда негодный. Я не хочу истребляйть своя полка для ваше удовольствий.

— Вы забываетесь, полковник. Я не удовольствие свое соблюдаю и говорить этого не лозволю.

Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выпрямив грудь и нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто все их разногласие должно было решиться там, в цепи, под пулями. Они приехали в цепь, несколько пуль пролетело над ними, и они молча остановились. Смотреть цепи нечего было, так как с того места, на котором они прежде стояли, ясно было, что по кустам и оврагам кавалерии действовать невозможно и что французы обходят левое крыло. Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха, готовящиеся к бою, друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен. Так как говорить было нечего, и ни тому, ни другому не хотелось подать повод другому сказать, что он первый выехал из-под пуль, они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость, ежели бы в это время в лесу, почти сзади их, не послышались трескотня ружей и глухой сливающийся крик. Французы напали на солдат, находившихся в лесу с дровами. Гусарам уже нельзя было отступать вместе

с пехотой. Они были отрезаны от пути отступления налево французскою цепью. Теперь, как ни неудобна была местность, необходимо было атаковать, чтобы проложить себе дорогу.

Эскадрон, где служил Ростов, только что успевший сесть на лошадей, был остановлен лицом к неприятелю. Опять, как и на Энском мосту, между эскадроном и неприятелем никого не было, и между ними, разделяя их, лежала та же страшная черта, отделяющая живых от мертвых. Все люди чувствовали эту черту, и вопрос о том, перейдут ли или нет и как перейдут они эту черту, волновал их.

Ко фронту подъехал полковник, сердито ответил что-то на вопросы офицеров и, как человек, отчаянно настаивающий на своем, отдал какое-то приказание. Никто ничего определенного не говорил, но по эскадрону пронеслась молва об атаке. Раздалась команда построения, потом визгнули сабли, вынутые из ножен. Но все еще никто не двигался. Войска левого фланга, и пехота, и гусары, чувствовали, что начальство само не знает, что делать, и нерешимость начальников сообщалась войскам.

«Поскорее, поскорее бы», думал Ростов, чувствуя, что наконец-то наступило время изведать наслаждение атаки, про которое он так много слышал от товарищей гусаров.

— С богом, ребята, — прозвучал голос Денисова, — рысью, марш!

В переднем ряду заколыхались крупы лошадей. Грачик потянул поводья и сам тронулся.

Справа Ростов видел первые ряды своих гусар, а еще дальше впереди виднелась ему темная полоса, которую он не мог рассмотреть, но считал неприятелем. Выстрелы были слышны, но в отдалении.

— Прибавь рыси! — послышалась команда, и Ростов чувствовал, как поддает задом, перебивая в галоп, его Грачик.

Он вперед угадывал его движения, и ему становилось все веселее и веселее. Он заметил одинокое дерево впереди. Это дерево сначала было впереди, на середине той черты, которая казалась столь страшною. А вот и перешли эту черту, и не только ничего страшного не было, но всё веселее и

оживленнее становилось. «Ох, как я рубану его», думал Ростов, сжимая в руке эфес сабли.

— Ур-р-а-а-а!! — загудели голоса.

«Ну, попадись теперь кто бы ни был», думал Ростов, вдавливая шпоры Грачику, и, перегоняя других, выпустил его во весь карьер. Впереди уже виден был неприятель. Вдруг, как широким веником, стегнуло что-то по эскадрону. Ростов поднял саблю, готовясь рубить, но в это время впереди скакавший солдат Никитенко отделился от него, и Ростов почувствовал, как во сне, что продолжает нестись с неестественною быстротой вперед и вместе с тем остается на месте. Сзади знакомый гусар Бандарчук наскакал на него и сердито посмотрел. Лошадь Бандарчука шарахнулась, и он обскакал мимо.

«Что же это? Я не подвигаюсь. Я упал, я убит...» в одно мгновение спросил и ответил Ростов. Он был уже один посреди поля. Вместо двигавшихся лошадей и гусарских спин он видел вокруг себя неподвижную землю и жнивье. Теплая кровь была под ним. «Нет, я ранен, и лошадь убита». Грачик поднялся было на передние ноги, но упал, придавив седоку ногу. Из головы лошади текла кровь. Лошадь билась и не могла встать. Ростов хотел подняться и упал тоже: ташка зацепилась за седло. Где были наши, где были французы — он не знал. Никого не было кругом.

Высвободив ногу, он поднялся. «Где, с какой стороны была теперь та черта, которая так резко отделяла два войска?» спрашивал он себя и не мог ответить. «Уже не дурное ли что-нибудь случилось со мной? Бывают ли такие случаи и что надо делать в таких случаях?» спросил он сам себя вставая; и в это время почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была, как чужая. Он оглядывал руку, тщетно отыскивая на ней кровь. «Но вот и люди, — подумал он радостно, увидав несколько человек, бежавших к нему. — Они мне помогут». Впереди этих людей бежал один, в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще два и еще много бежало сзади. Один из них проговорил что-то стран-

ное, нерусское. Между задними такими же людьми, в таких же киверах, стоял один русский гусар. Его держали за руки; позади его держали его лошадь.

«Верно, наш пленный... Да. Неужели и меня возьмут? Что это за люди?» всё думал Ростов, не веря своим глазам. «Неужели французы?» Он смотрел на приближавшихся французов, и, несмотря на то, что за секунду скакал только затем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их, близость их казалась ему теперь так ужасна, что он не верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все». Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятеля убить его показалось невозможно. «А может — и убить!» Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная, чуждая физиономия этого человека, который со штыком наперевес, сдерживая дыханье, легко подбегал к нему, испугала Ростова. Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил им в француза и побежал к кустам что было силы. Не с тем чувством сомнения и борьбы, с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою он бегал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное, доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробегал по его спине. «Нет, лучше не смотреть», подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся еще раз. Французы отстали, и даже в ту минуту, как он оглянулся, передний только что переменил рысь на шаг и, обернувшись, что-то сильно кричал заднему товарищу. Ростов остановился. «Что-нибудь не так, — подумал он, — не может быть, чтоб они хотели убить меня». А между тем левая рука его была так тяжела, как будто двухпудовая гиря была привешена к ней. Он не мог бежать дальше. Француз остано-

вился тоже и прицелился. Ростов зажмурился и нагнулся. Одна, другая пуля пролетела жужжа мимо него. Он собрал последние силы, взял левую руку в правую и побежал до кустов. В кустах были русские стрелки.

Пехотные полки, застигнутые врасплох в лесу, выбегали из леса, и роты, смешиваясь с другими ротами, уходили беспорядочными толпами. Один солдат в испуге проговорил страшное на войне и бессмысленное слово: «отрезали!», и слово вместе с чувством страха сообщилось всей массе.

— Обошли! Отрезали! Пропали! — кричали голоса бегущих.

Полковой командир, в ту самую минуту, как он услыхал стрельбу и крик сзади, понял, что случилось что-нибудь ужасное с его полком и, мысль, что он, примерный, много лет служивший, ни в чем не виноватый офицер, мог быть виновен перед начальством в оплошности или нераспорядительности, так поразила его, что в ту же минуту, забыв и непокорного кавалериста полковника, и свою генеральскую важность, а главное — совершенно забыв про опасность и чувство самосохранения, он, ухватившись за луку седла и шпоря лошадь, поскакал к полку под градом обсыпавших, но счастливо миновавших его пуль. Он желал одного: узнать, в чем дело, и помочь и исправить во что бы то ни стало ошибку, ежели она была с его стороны, и не быть виновным ему, двадцать два года служившему, ни в чем не замеченному, примерному офицеру.

Счастливо проскакав между французами, он подскакал к полю за лесом, чрез который бежали наши и, не слушаясь команды, спускались под гору. Наступила минута нравственного колебания, которая решает участь сражений: послушают эти расстроенные толпы солдат голоса своего командира или, оглянувшись на него, побегут дальше. Несмотря на отчаянный крик прежде столь грозного для солдат полкового командира, несмотря на разъяренное, багровое, на себя непохожее лицо полкового командира и маханье шпагой, солдаты

всё бежали, разговаривали, стреляли в воздух и не слушали команды. Нравственное колебание, решающее участь сражений, очевидно, разрешалось в пользу страха.

Генерал закашлялся от крика и порохового дыма и остановился в отчаянии. Всё казалось потеряно, но в эту минуту французы, наступавшие на наших, вдруг без видимой причины побежали назад, скрылись из опушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота Тимохина, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, неожиданно атаковала французов. Тимохин с таким отчаянным криком бросился на французов и с такою безумною и пьяною решительностью, с одною шпажкой, набежал на неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и побежали. Долохов, бежавший рядом с Тимохиным, в упор убил одного француза и первый взял за воротник сдавшегося офицера. Бегущие возвратились, батальоны собрались, и французы, разделившие было на две части войска левого фланга, на мгновение были оттеснены. Резервные части успели соединиться, и беглецы остановились. Полковой командир стоял с майором Экономовым у моста, пропуская мимо себя отступающие роты, когда к нему подошел солдат, взял его за стремя и почти прислонился к нему. На солдате была синеватая, фабричного сукна шинель, ранца и кивера не было, голова была повязана, и через плечо была надета французская зарядная сумка. Он в руках держал офицерскую шпагу. Солдат был бледен, голубые глаза его нагло смотрели в лицо полковому командиру, а рот улыбался. Несмотря на то, что полковой командир был занят отданием приказания майору Экономову, он не мог не обратить внимания на этого солдата.

— Ваше превосходительство, вот два трофея, — сказал Долохов, указывая на французскую шпагу и сумку. — Мною взят в плен офицер. Я остановил роту. — Долохов тяжело дышал от усталости; он говорил с остановками. — Вся рота может свидетельствовать. Прошу запомнить, ваше превосходительство.

— Хорошо, хорошо, — сказал полковой командир и обратился к майору Экономову.

Но Долохов не отошел; он развязал платок, дернул его и показал запекшуюся в волосах кровь.

— Рана штыком, я остался на фронте. Попомните, ваше превосходительство.

Про батарею Тушина было забыто, и только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло по чьему-то приказанию в середине дела; но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех, никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт, и оба раза был прогоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом возвышении четырех пушек.

Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шенграбен.

— Вишь, засумятились! Горит! Вишь, дым-то! Ловко! Важно! Дым-то, дым-то! — заговорила прислуга, оживляясь.

Все орудия без приказания били в направлении пожара. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу: «Ловко! Вот так-так! Ишь, ты!.. Важно!» Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но, как бы в наказание за эту неудачу, неприятель выставил правее деревни десять орудий и стал бить из них по Тушину.

Из-за детской радости, возбужденной пожаром, и азарта удачной стрельбы по французам, наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще четыре ударили между орудиями, и одно повалило двух лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление, раз установившееся, однако, не ослабело, а только переменило настроение. Лошади были заменены другими

из запасного лафета, раненые убраны, и четыре орудия повернуты против десятипушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжение часа из сорока человек прислуги выбыли семнадцать, но артиллеристы всё так же были веселы и оживлены. Два раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы, и тогда они били по них картечью.

Маленький человек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика е щ е т р у б о ч к у з а э т о, как он говорил и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов.

— Круши, ребята! — приговаривал он и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты.

В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей и покрикивая своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его всё более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда, мешкавших поднять раненого или тело. Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он всё помнил, всё соображал, всё делал, что мог делать самый лучший офицер в его по-

ложении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), — из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.

— Видишь, пыхнул опять, — проговорил Тушин шопотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, — теперь мячик жди — отсылать назад.

— Что прикажете, ваше благородие? — спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то.

— Ничего, гранату... — отвечал он.

«Ну-ка, наша Матвевна», говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый нумер второго орудия в его мире был дядя; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков.

«Ишь, задышала опять, задышала», говорил он про себя.

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.

— Ну, Матвевна, матушка, не выдавай! — говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый, незнакомый голос:

— Капитан Тушин! Капитан!

Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из Грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:

— Что вы, с ума сошли? Вам два раза приказано отступать, а вы...

«Ну, за что они меня?..» думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.

— Я... ничего... — проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. — Я...

Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.

— Отступать! Все отступать! — прокричал он издалека.

Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием.

Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», подумал он и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий.

— А то приезжало сейчас начальство, так скорее драло, — сказал фейерверкер князю Андрею, — не так, как ваше благородие.

Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.

— Ну, до свидания, — сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.

— До свидания, голубчик, — сказал Тушин, — милая душа! Прощайте, голубчик, — сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.

2

ПЬЕР БЕЗУХОВ НАКАНУНЕ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

(Том III, часть II, гл. XX)

25-го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой-то конный полк с песенниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с ранеными во вчерашнем деле. Возчики-мужики, крича на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера.

Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтоб они держали к одной. Кавалерийский полк, с песнями спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из-за откоса горы солнце не доставало в углубление дороги, тут было холодно, сыро; над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги, подле самого Пьера. Возчик в лаптях, запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние, нешиненые колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке.

Один раненый старый солдат с подвязанною рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровою рукою и оглянулся на Пьера.

— Что ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы? — сказал он.

Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский полк, повстречавшийся теперь с поездом раненых, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых и лежал один. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой, молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившеюся доброю улыбкой смотрел на Пьера, третий лежал ничком и лица его не было видно. Кавалеристы-песенники проходили над самою телегой.

«Ах запропала... да ежова голова...»

«Да на чужой стороне живучи...» — выделывали они плясовую солдатскую песню. Как бы вторя им, но в другом роде веселья, перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И еще в другом роде веселья обливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно.

Солдат с распухшею щекой сердито глядел на песенников-кавалеристов.

— Ох, щегольки! — проговорил он укоризненно.

— Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят, — сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. — Нынче не разбирают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва! Один конец сделать хотят. — Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял всё то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой.

Дорога расчистилась, и Пьер сошел под гору и поехал дальше.

Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак. Проехав версты четыре, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.

— Граф, ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор.

— Да вот хотелось посмотреть...

— Да, да, будет что посмотреть...

Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении.

Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к светлейшему.

— Что же вам бог знает где находиться во время сражения, в безызвестности, — сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем, — а светлейший все-таки знает вас и примет милостиво. Так, батюшка, и сделайте,—сказал доктор.

Доктор казался усталым и спешащим.

— Так вы думаете... А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция? — сказал Пьер.

— Позиция? — сказал доктор. Уж это не по моей части. Проедете Татаринову, там что-то много копают. Там на курган войдете: оттуда видно, — сказал доктор.

— И видно оттуда?.. Ежели бы вы...

Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.

— Я бы вас проводил, да ей-богу —вот (доктор показал на горло), — скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как?.. Вы знаете, граф, завтра сражение; на сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо; а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на шесть тысяч нет. Десять тысяч телег есть, да ведь нужно и другое; как хочешь, так и делай.

Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением

смотрели на его шляпу, было, наверное, двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), поразила Пьера.

«Они, может быть, умрут завтра, зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти?» И ему вдруг по какой-то тайной связи мыслей живо представился спуск с можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песня кавалеристов.

«Кавалеристы идут на сраженье и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу. Странно!» думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой.

У помещичьего дома на левой стороне дороги стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял светлейший. Но в то время как приехал Пьер, его не было, и почти никого не было из штабных. Все были на молебствии. Пьер поехал вперед к Горкам.

Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги, на огромном кургане, обросшем травою.

Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая.

Два офицера стояли на кургане, распоряжаясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно забавляющихся еще своим новым военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что всем народом навалиться хотят. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями и кое у кого расстегнутыми косыми воротами рубах, из-под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты.

3

РАЗГОВОР КНЯЗЯ АНДРЕЯ БОЛКОНСКОГО С ПЬЕРОМ БЕЗУХОВЫМ В НОЧЬ НАКАНУНЕ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

(Том III, часть II, гл. XXV)

...Офицеры не без удивления смотрели на толстую, громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину, чем к Болконскому.

— Так ты понял всё расположение войск? — перебил его князь Андрей.

— Да, то есть как? — сказал Пьер. — Как не военный человек я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение.

— Eh bien, vous êtes plus avancé que qui cela soit [1], — сказал князь Андрей.

— А! — сказал Пьер с недоуменьем, через очки глядя на князя Андрея. — Ну, как вы скажете насчет назначения Кутузова? — сказал он.

— Я очень рад был этому назначению, вот всё, что я знаю, — сказал князь Андрей.

— Ну, а скажите, какое ваше мнение насчет Барклая-де-Толли? В Москве бог знает что говорили про него. Как вы судите о нем?

— Спроси вот у них, — сказал князь Андрей, указывая на офицеров.

Пьер с снисходительно-вопросительной улыбкой, с которою невольно все обращались к Тимохину, посмотрел на него.

— Свет увидали, ваше сиятельство, как светлейший поступил, — робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира, сказал Тимохин.

— Отчего же так? — спросил Пьер

---

[1] Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было.

— Да вот хоть бы насчет дров или кормов, доложу вам. Ведь мы от Свенцян отступали, не смей хворостины тронуть или сенца там, или что. Ведь мы уходим, ему достается, не так ли, ваше сиятельство? — обратился он к своему князю. — А ты не смей. В нашем полку под суд двух офицеров отдали за этакие дела. Ну, как светлейший поступил, так насчет этого просто стало. Свет увидали...

— Так отчего же он запрещал?

Тимохин сконфуженно оглядывался, не понимая, как и что отвечать на такой вопрос. Пьер с тем же вопросом обратился к князю Андрею.

— А чтобы не разорять край, который мы оставляли неприятелю, — злобно-насмешливо сказал князь Андрей. — Это очень основательно: нельзя позволить грабить край и приучаться войскам к мародерству. Ну, и в Смоленске он тоже правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того, — вдруг как бы вырвавшимся тонким голосом закричал князь Андрей, — но он не мог понять, что мы в первый раз дрались там за русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы два дня сряду отбивали французов, и что этот успех удесятерил наши силы. Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. Он не думал об измене, он старался все сделать как можно лучше, он всё обдумал; но от этого-то он и не годится. Он не годится теперь именно потому, что он всё обдумывает очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу. Как бы тебе сказать... Ну, у отца твоего немец лакей, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом, и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек. А у вас в клубе выдумали, что он изменник! Тем, что его оклеветали изменником, сделают только то, что потом, устыдившись

своего ложного нарекания, из изменника сделают вдруг героем или гением, что еще будет несправедливее. Он честный и очень аккуратный немец.

— Однако говорят, что он искусный полководец, — сказал Пьер.

— Я не понимаю, что такое значит искусный полководец,— с насмешкой сказал князь Андрей.

— Искусный полководец, — сказал Пьер, — ну, тот, который предвидел все случайности... ну, угадал мысли противника.

— Да это невозможно, — сказал князь Андрей, как будто про давно решенное дело.

Пьер с удивлением посмотрел на него.

— Однако, — сказал он, — ведь говорят же, что война подобна шахматной игре.

— Да, — сказал князь Андрей, — только с тою маленькою разницей, что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать сколько угодно, что ты там вне условий времени, и еще с тою разницей, что конь всегда сильнее пешки и две пешки всегда сильнее одной, а на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна. Поверь мне, — сказал он, — что ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них... Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции.

— А от чего же?

— От того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате.

Князь Андрей взглянул на Тимохина, который испуганно и недоумевая смотрел на своего командира. В противность своей прежней сдержанной молчаливости, князь Андрей казался теперь взволнованным. Он, видимо, не мог удержаться

от высказывания тех мыслей, которые неожиданно приходили ему.

— Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, и проиграли. А сказали мы это потому, что нам там незачем было драться; поскорее хотелось уйти с поля сражения. «Проиграли — ну так бежать!» мы и побежали. Ежели бы до вечера мы не говорили этого, бог знает, что бы было. А завтра мы этого не скажем. Ты говоришь: наша позиция, левый фланг слаб, правый фланг растянут, — продолжал он, — всё это вздор, ничего этого нет. А что нам предстоит завтра? Сто миллионов самых разнообразных случайностей, которые будут решаться мгновенно тем, что побежали или побегут они или наши, что убьют того, убьют другого; а то, что делается теперь, — всё это забава. Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не содействуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только своими маленькими интересами.

— В такую минуту? — укоризненно сказал Пьер.

— В т а к у ю м и н у т у, — повторил князь Андрей, — для них это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. Для меня на завтра вот что: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и факт в том, что эти 200 тысяч дерутся, и кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что что бы там ни было, что бы ни путали там наверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение.

— Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, — проговорил Тимохин, — что себя жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить: не такой день, говорят.

Все помолчали.

Офицеры поднялись. Князь Андрей вышел с ними за сарай, отдавая последние приказания адъютанту. Когда офицеры

ушли, Пьер подошел к князю Андрею и только что хотел начать разговор, как по дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей, и, взглянув по этому направлению, князь Андрей узнал Вольцогена с Клаузевицом, сопутствуемых казаком. Они близко проехали, продолжая разговаривать, и Пьер с Андреем невольно услыхали следующие фразы:

«— Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben»[1],—говорил один.

—О ja.—сказал другой голос,—der Zweck ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privat-Personen in Achtung nehmen[2].

— О ja[3],—подтвердил первый голос.

— Да, im Raum verlegen[4], — повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда они проехали. — Im Raum[5]-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это всё равно. Вот оно то, что я тебе говорил: эти господа немцы завтра не выиграют сражения, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того, что одно только и нужно на завтра, то, что есть в Тимохине. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить — славные учителя! — опять взвизгнул его голос.

— Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? — сказал Пьер.

— Да, да, — рассеянно сказал князь Андрей. — Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, — начал он опять, — я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимо-

---

[1] Война должна быть перенесена в пространство. Это воззрение я не могу достаточно восхвалить.

[2] О да, так как цель состоит в том, чтоб ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц.

[3] О да,

[4] перенести в пространство.

[5] В пространстве-то

хин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там ни разговаривали в Тильзите.

— Да, да, — проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, — я совершенно, совершенно согласен с вами.

Тот вопрос, который с можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и всё значение этой войны и предстоящего сражения. Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти.

— Не брать пленных, — продолжал князь Андрей. — Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокою. А то мы играли в войну, вот что скверно, мы великодушничаем и т. п. Это великодушничанье и чувствительность — вроде великодушия и чувствительности барыни, с которою делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и т. д. Всё вздор. Я видел в 1805-м году рыцарство, парламентерство; нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего, убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и итти на смерть! Кто дошел до этого так, как я, теми же страданиями...

Князь Андрей, думавший, что ему было всё равно, возьмут ли или не возьмут Москву так, как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча,

но глаза его лихорадочно блестели, и губа дрожала, когда он опять стал говорить.

— Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда стоит того итти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иваныч обидел Михаила Иваныча. А ежели война как теперь, так война. И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка...

4

НАПОЛЕОН НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

(Том III, часть II, гл. XXXIII—XXXIV)

Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве 1000 сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства, с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым, но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения самым простым, бесхитростным образом.

Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.

Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии Дессе и Компана на флеши, и слева полки вице-короля — на Бородино.

От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более, чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и потому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флешей. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что-то черное — вероятно, люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.

Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под руки на флеши. Дым стлался пред флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из-за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.

Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей иногда своих, иногда русских, но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.

Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить пред ним. Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.

Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкающей стрельбы ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад.

С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютанты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две-три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись, и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так, от вице-короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он переходить войскам. Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина мост уже был отбит и сожжен русскими в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сражения.

Прискакавший с флешей с бледным, испуганным лицом адъютант донес Наполеону, что атака отбита, и что Компан ранен и Даву убит, а между тем флеши были заняты другою частью войск, в то время как адъютанту говорили, что французы были отбиты, и Даву был жив и только слегка контужен. Соображаясь с таковыми необходимо ложными донесениями, Наполеон делал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы.

Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения, но так же, как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль, не спрашиваясь Наполеона, делали свои распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большею частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено

было итти вперед, попав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять бегущих русских. Так два полка кавалерии поскакали через Семеновский овраг, и только что выехали на гору, повернулись и во весь дух поскакали назад. Так же двигались и пехотные солдаты, иногда забегая совсем не туда, куда им велено было. Все распоряжения о том, куда и когда подвинуть пушки, когда послать пеших солдат — стрелять, когда конных — топтать русских пеших, все эти распоряжения делали сами ближайшие начальники частей, бывшие в рядах, не спрашиваясь даже Нея, Даву и Мюрата, не только Наполеона. Они не боялись взыскания за неисполнение приказания или за самовольное распоряжение, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека — собственной жизни, и иногда кажется, что спасение заключается в бегстве назад, иногда в бегстве вперед, и сообразно с настроением минуты поступали эти люди, находившиеся в самом пылу сражения. В сущности же все эти движения вперед и назад не облегчали и не изменяли положения войск. Все их набегания и наскакивания друг на друга почти не производили им вреда, а вред, смерть и увечья наносили ядра и пули, летавшие везде по тому пространству, по которому метались эти люди. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.

Генералы Наполеона, Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно со-

вершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля, стройные массы войск возвращались оттуда расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устраивали их, но людей всё становилось меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления.

Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.

— Подкрепления? — сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов и глядя на красивого мальчика адъютанта с длинными завитыми черными волосами (так же, как носил волоса Мюрат). «Подкрепления! — подумал Наполеон. — Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских!»

— Dites au roi de Naples,—строго сказал Наполеон,—qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon échiquier. Allez...[1]

Красивый мальчик адъютант с длинными волосами, не отпуская руки от шляпы, тяжело вздохнув, поскакал опять туда, где убивали людей.

Наполеон встал и, подозвав Коленкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения.

В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был Бельяр. Он, слезши с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию.

Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бельяр громко и оживленно стал говорить с генералами свиты, окружившими его.

---

[1] Скажите неаполитанскому королю, что еще нет полдня и что я еще недостаточно ясно вижу положение шахмат. — Ступайте...

— Вы очень пылки, Бельяр, — сказал Наполеон, опять подходя к подъехавшему генералу.—Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне.

Не успел еще Бельяр скрыться из виду, как с другой стороны прискакал новый посланный с поля сражения.

— Eh bien qu'est ce qu'il y a?[1] — сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами.

— Sire, le Prince...[2]—начал адъютант.

— Просит подкрепления?—с гневным жестом проговорил Наполеон. Адъютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать; но император отвернулся от него, сделал два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье.— Надо дать резервы,—сказал он, слегка разводя руками.—Кого послать туда, как вы думаете?—обратился он к Бертье, к этому oison que j'ai fait aigle[3], как он впоследствии называл его.

— Государь, послать дивизию Клапареда,—сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны.

Наполеон утвердительно кивнул головой.

Адъютант поскакал к дивизии Клапареда. И чрез несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению.

— Нет, — обратился он вдруг к Бертье, — я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана, — сказал он.

Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана, но приказание было в точности исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами, — роль, которую он так верно понимал и осуждал.

---

[1] Ну, что еще?
[2] Государь, герцог...
[3] гусенку, которого я сделал орлом.

Дивизия Фриана, так же как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все, как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкреплений, все говорили, что русские держатся на своих местах и производят un feu d'enfer[1], от которого тает французское войско.

Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле.

Проголодавшийся с утра m-r de Beausset, любивший путешествовать, подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать.

— Я надеюсь, что теперь я уже могу поздравить ваше величество с победой, — сказал он.

Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагая, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, m-r de Beausset позволил себе игриво-почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать.

— Allez vous...[2] — вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся. Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе, и он плывущим шагом отошел к другим генералам.

Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший, и вдруг именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает.

Войска были те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, та же proclamation courte et énergique[3], он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде, даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом; но страшный размах руки падал волшебно бессильно.

Все те прежние приемы, бывало неизменно увенчиваемые

---

[1] адский огонь,

[2] Убирайтесь к...

[3] прокламация короткая и энергическая.

успехами: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, и атака кавалерии des hommes de fer[1], все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия о убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск.

Прежде, после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями корпуса пленных, des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis[2], и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом, и так далее, и так далее. Теперь же что-то странное происходило с его войсками.

Несмотря на известие о взятии флешей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех его прежних сражениях. Он видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле сражений. Все лица были печальны, все глаза избегали друг друга. Только один Боссе мог не понимать значения того, что совершалось. Наполеон же после своего долгого опыта войны знал хорошо, что значило в продолжение восьми часов, после всех употребленных усилий, невыигранное атакующим сражение. Он знал, что это было проигранное сражение, и что малейшая случайность могла теперь — на той натянутой точке колебания, на которой стояло сражение, — погубить его и его войска.

Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сраженья, в которой в два месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские всё стоят, — страшное чувство, подобное чувству, испытываемому

---

[1] железных людей,
[2] пуки неприятельских орлов и знамен.

в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Русские могли напасть на его левое крыло, могли разорвать его середину, шальное ядро могло убить его самого. Всё это было возможно. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели охватывает беспомощного человека.

Известие о том, что русские атакуют левый фланг французской армии, возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колена. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело.

— Что? Что вы говорите? — сказал Наполеон. — Да, велите подать мне лошадь.

Он сел верхом и поехал к Семеновскому.

В медленно расходившемся пороховом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, в лужах крови лежали лошади и люди, поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видали еще и Наполеон и никто из его генералов. Гул орудий, не перестававший десять часов сряду и измучивший ухо, придавал особенную значительность зрелищу (как музыка при живых картинах). Наполеон выехал на высоту Семеновского и сквозь дым увидал ряды людей в мундирах цветов, непривычных для его глаза. Это были русские.

Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и кургана, и их орудия не переставая гудели и дымили по их линии. Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов. Наполеон остановил лошадь и впал опять в ту задум-

чивость, из которой вывел его Бертье; он не мог остановить того дела, которое делалось пред ним и вокруг него и которое считалось руководимым им и зависящим от него, и дело это ему в первый раз, вследствие неуспеха, представлялось ненужным и ужасным.

Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбнулись на бессмысленное предложение генерала.

Наполеон опустил голову и долго молчал.

— A huit cent lieux de France je ne ferai pas démolir ma garde![1] — сказал он и, повернув лошадь, поехал назад к Шевардину.

5

КУТУЗОВ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

(Том III, часть II, гл. XXXV)

Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.

«Да, да, сделайте это», отвечал он на различные предложения. «Да, да, съезди, голубчик, посмотри», обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: «Нет, не надо, лучше подождем», говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненными; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лица, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и

---

[1] За три тысячи двести верст от Франции я не могу дать разгромить свою гвардию!

старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующих, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.

Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость слабого и старого тела.

В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флеши были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.

— Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как, — сказал он одному из адъютантов, и вслед за тем обратился к принцу Виртембергскому, стоявшему позади его: — Не угодно ли будет вашему высочеству принять командованье первою армией?

Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог доехать до Семеновского, адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск.

Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание принять командование первою армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.

— Подождите, господа, — сказал он. — Сраженье выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать радоваться.— Однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием.

Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о занятии французами флешей и Семеновского, Кутузов, по звукам поля сражения и по лицу Щербинина угадав, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги и, взяв под руку Щербинина, отвел его в сторону.

— Съезди, голубчик, — сказал он Ермолову, — посмотри, нельзя ли что сделать.

Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.

В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли вокруг него, Кутузов читал выражение напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал. Ему подали обедать.

Флигель-адъютант Вольцоген, тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо im Raum verlegen[1], и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вольцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай-де-Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.

Кутузов с трудом жевал жареную курицу и сузившимися повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена.

Вольцоген, небрежно разминая ноги, с полупрезрительною улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.

Вольцоген обращался с светлейшим с некоторою аффектированною небрежностью, имеющею целью показать, что он, как высоко образованный военный, предоставляет русским делать кумира из этого старого, бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «Der alte Herr (как называли Кутузова в своем кругу немцы) macht sich ganz bequem»[2], подумал

---

[1] перенести в пространство,

[2] Старый господин покойно устроился.

Вольцоген и, строго взглянув на тарелки, стоявшие перед Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял.

— Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности остановить их, — докладывал он.

Кутузов, остановившись жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена. Вольцоген, заметив волнение des alten Herrn [1], с улыбкой сказал:

— Я не считал себя в праве скрыть от вашей светлости того, что я видел... Войска в полном расстройстве...

— Вы видели? Вы видели?.. — нахмурившись закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. — Как вы... как вы смеете!.. — делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он. — Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне? Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы, и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.

Вольцоген хотел возразить что-то, но Кутузов перебил его.

— Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра мое непременное намерение атаковать неприятеля, — строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала. — Отбиты везде, за что я благодарю бога и наше храброе войско. Неприятель побежден и завтра погоним его из священной земли русской,— сказал Кутузов, крестясь; и вдруг всхлипнул от наступивших слез. Вольцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошел к стороне, удивляясь über diese Eingenommenheit des alten Herrn [2].

---

[1] старого господина.

[2] на это самодурство старого господина.

— Да, вот он, мой герой, — сказал Кутузов к полному, красивому черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля.

Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах, и что французы не смеют атаковать более.

Выслушав его, Кутузов по-французски сказал:

— Vous ne pensez donc pas comme les autres que nous sommes obligés de nous retirer?

— Au contraire, votre altesse, dans les affaires indécises c'est toujours le plus opiniâtre qui reste victorieux,—от ечал Раевский.—et mon opinion...[1]

— Кайсаров! — кликнул Кутузов своего адъютанта. — Садись, пиши приказ на завтрашний день. А ты, — обратился он к другому, — поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.

Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай-де-Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.

Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.

И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска.

Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вы-

---

[1] — Вы, стало быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?

— Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение...

текало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего так же, как и в душе каждого русского человека.

И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.

6

ЗНАЧЕНИЕ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

(Том III, часть II, гл. XXXIX)

Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей с испуганными лицами с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны — назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять.

Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма, и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»

Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть уби-

тому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше». Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить всё и побежать куда попало.

Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады были бы перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.

Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибли. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.

Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войска, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли п о л о в и н у своего войска.

Французам с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная, нетронутая гвардия, легко было сде-

лать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута, и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, всё равно, что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии потому, что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упавший дух войска не позволял этого.

Не один Наполеон испытывал то, похожее на сновиденье, чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал) испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв п о л о в и н у войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине раны. Прямым

следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой, Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель Наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.

7

ВОЕННЫЙ СОВЕТ В ФИЛЯХ

(Том III, часть III, гл. III—IV)

Русские войска, отступив от Бородина, стояли у Филей. Ермолов, ездивший для осмотра позиции, подъехал к фельдмаршалу.

— Драться на этой позиции нет возможности, — сказал он. Кутузов удивленно посмотрел на него и заставил его повторить сказанные слова. Когда он проговорил, протянул ему руку.

— Дай-ка руку, — сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал: — Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь.

Кутузов на Поклонной горе, в шести верстах от Дорогомиловской заставы, вышел из экипажа и сел на лавку на краю дороги. Огромная толпа генералов собралась вокруг него. Граф Растопчин, приехав из Москвы, присоединился к ним. Всё это блестящее общество, разбившись на несколько кружков, говорило между собой о выгодах и невыгодах позиции, о положении войск, о предполагаемых планах, о состоянии Москвы, вообще о вопросах военных. Все чувствовали, что хотя и не были призваны на то, что хотя это не было так названо, но что это был военный совет. Разговоры все держались в области общих вопросов. Ежели кто и сообщал или узнавал личные новости, то про это говорилось шопотом, и тотчас переходили опять к общим вопросам: ни шуток, ни смеха, ни улыбок даже не было заметно между

всеми этими людьми. Все, очевидно с усилием, старались держаться на высоте положения. И все группы, разговаривая между собой, старались держаться в близости главнокомандующего (лавка которого составляла центр в этих кружках) и говорили так, чтоб он мог их слышать. Главнокомандующий слушал и иногда переспрашивал то, что говорили вокруг него, но сам не вступал в разговор и не выражал никакого мнения. Большею частью, послушав разговор какого-нибудь кружка, он с видом разочарования, — как будто совсем не о том они говорили, что он желал знать, — отворачивался. Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка была сделана прежде, что надо было принять сраженье еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в испанском мундире (француз этот вместе с одним из немецких принцев, служивших в русской армии, разбирал осаду Сарагоссы, предвидя так же защищать Москву). В четвертом кружке граф Растопчин говорил о том, что он с московскою дружиной готов погибнуть под стенами столицы, но что всё-таки он не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что ежели бы он это знал прежде, было бы другое... Пятые, выказывая глубину своих стратегических соображений, говорили о том направлении, которое должны будут принять войска. Шестые говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось всё озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было никакой физической возможности в полном значении этих слов, т. е. до такой степени не было возможности, что ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница, и сражения все-таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможною, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли на-

чальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможною и потому не могли итти драться с уверенностью поражения. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуждали ее, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для спора и интриги. Это понимал Кутузов.

Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог не морщась выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно, как день, видел цель Бенигсена: в случае неудачи защиты — свалить вину на Кутузова, доведшего войска без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха — себе приписать его; в случае же отказа — очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его. И на вопрос этот он ни от кого не слышал ответа. Вопрос состоял для него теперь только в том: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться? Или еще прежде?.. Но когда, когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена. Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый князю Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убежден, что ему было предназначено спасение России, и потому только, против воли государя и по воле народа, он был избран главнокомандующим. Он был убежден, что он один в этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона; и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Но надо было решить что-

нибудь, надо было прекратить эти разговоры вокруг него, которые начинали принимать слишком свободный характер.

Он подозвал к себе старших генералов.

— Ma tête, fut-elle bonne ou mauvaise, n'a qu'à s'aider d'elle même[1],— сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.

В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова, в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел глубоко опустившись в складное кресло и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, всё как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел, с георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай-де-Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его зно-

---

[1] Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого.

било и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман-Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежною и хитрою улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.

Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во всё это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.

— Священную, древнюю столицу России! — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать

потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед затем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.

— Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить план графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например... (Кутузов как

будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было... не вполне удачно только оттого, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля... — Последовало показавшееся всем очень продолжительным минутное молчание.

Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.

Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него.

— Eh bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui paierai les pots cassés[1], — сказал он. И медленно приподнявшись, он подошел к столу. — Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученною мне моим государем и отечеством, я — приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с тою же торжественною и молчаливою осторожностью, с которою расходятся после похорон.

Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое-что главнокомандующему.

Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.

Отпустив генералов, Кутузов долго сидел облокотившись на стол и думал всё о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же, наконец, решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему уже поздно ночью адъютанту Шнейдеру, — этого я не ждал! Этого я не думал!

---

[1] Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки,

— Вам надо отдохнуть, ваша светлость, — сказал Шнейдер.

— Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, — не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, — будут и они, только бы...

8

КУТУЗОВ УЗНАЕТ ОБ ОСТАВЛЕНИИ НАПОЛЕОНОМ МОСКВЫ

(Том IV, часть II, гл. XVII)

Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью, лежа не раздетый на своей постеле, большей частью не спал и думал.

Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую, изуродованную голову на пухлую руку и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте.

С тех пор как Бенигсен, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и кануна его, болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он.

«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпенье и время, вот мои воины богатыри!» думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблока, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено — испортишь яблоко и дерево и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще неразъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.

«Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Всё маневры, всё наступления! — думал он — К чему? Всё отличиться. Точно что-то веселое есть

в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело, оттого что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело.

И какие искусные маневры предлагают мне все эти! Им кажется, что когда они выдумали две-три случайности (он вспомнил об общем плане из Петербурга), они выдумали их все. А им всем нет числа!»

Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно, всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время, тем нетерпеливее он становился. Лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности так же, как и молодежь, но с тою разницей только, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и три, а тысячи. Чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движения наполеоновской армии всей или частей ее — к Петербургу, на него, в обход его, придумывал (чего он больше всего боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием: что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов; но одного, чего он не мог предвидеть, это того, что совершилось, того безумного, судорожного метания войска Наполеона в продолжение первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, — метания, которое сделало возможным то, о чем все-таки не смел еще тогда думать Кутузов: совершенное истребление французов. Донесения Дорохова о дивизии Брусье, известия от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы — всё

подтверждало предположение, что французская армия разбита и сбирается бежать; но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он с своею шестидесятилетнею опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего-нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают всё противоречащее. И чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы. Всё остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m-me Staël, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздачи наград, переписка с Петербургом и т. п. Но погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание.

В ночь 11-го октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.

В соседней комнате зашевелилось, и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.

— Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? — окликнул их фельдмаршал.

Пока лакей зажигал свечку, Толь рассказывал содержание известий.

— Кто привез? — спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своей холодной строгостью.

— Не может быть сомнения, ваша светлость.

— Позови, позови его сюда!

Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати и навалившись большим животом на другую согнутую ногу. Он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его.

— Скажи, скажи, дружок, — сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. — Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?

Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.

— Говори, говори скорее, не томи душу, — перебил его Кутузов.

Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сощурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

— Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей... — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! — И он заплакал.

9

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА

(Том IV, часть III, гл. I—XV)

I

Бородинское сражение с последовавшими за ним занятием Москвы и бегством французов без новых сражений — есть одно из самых поучительных явлений истории.

Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов в их столкновениях между собой выражается войнами; что непосредственно, вследствие больших или меньших успехов военных, увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов.

Как ни странны исторические описания того, как какой-нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии одною сотой всех сил народа заставило покориться народ, — все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что большие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого

народа суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется.

Так было (по истории) с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск Австрия лишается своих прав и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Иеной и Ауерштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии.

Но вдруг в 1812 году французами одержана победа под Москвой, Москва взята, и вслед за тем, без новых сражений, не Россия перестала существовать, а перестала существовать 600-тысячная армия, потом наполеоновская Франция. Натянуть факты на правила истории, сказать, что поле сражения в Бородине осталось за русскими, что после Москвы были сражения, уничтожившие армию Наполеона, — невозможно.

После бородинской победы французов не было ни одного не только генерального, но сколько-нибудь значительного сражения, и французская армия перестала существовать. Что это значит? Ежели бы это был пример из истории Китая, мы бы могли сказать, что это явление не историческое (лазейка историков, когда что не подходит под их мерку); ежели бы дело касалось столкновения непродолжительного, в котором участвовали бы малые количества войск, мы бы могли принять это явление за исключение; но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта была величайшая из всех известных войн...

Период кампании 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не постоянный признак завоевания; доказал, что сила, решающая участь на-

родов, лежит не в завоевателях, даже не в армиях и сражениях, а в чем-то другом.

Французские историки, описывая положение французского войска перед выходом из Москвы, утверждают, что все в Великой армии было в порядке, исключая кавалерии, артиллерии и обозов, да не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам.

Выигранное сражение не принесло обычных результатов потому, что мужики Карп и Влас, которые после выступления французов приехали в Москву с подводами грабить город и вообще не выказывали лично геройских чувств, и все бесчисленное количество таких мужиков не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его.

Представим себе двух людей, вышедших со шпагами на поединок по всем правилам фехтовального искусства; фехтование продолжалось довольно долгое время; вдруг один из противников, почувствовав себя раненным, поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Но представим себе, что человек, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, какая путаница и неясность произошла бы от такого описания происшедшего поединка!

Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские; люди, старающиеся объяснить всё по правилам фехтования, — историки, которые писали об этом событии.

Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение го-

родов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война, всё это были отступления от правил.

Наполеон чувствовал это, и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтования остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существуют какие-то правила для того, чтоб убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что высшим по положению русским людям казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию en quarte или en tierce, сделать искусное выпадение в prime [1] и т. д., — дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие.

И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передают ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью.

II

Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так называемых правил войны есть действие разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу. Такого рода дей-

---

[1] четвертую, третью, первую

ствия всегда проявляются в войне, принимающей народный характер. Действия эти состоят в том, что вместо того, чтобы становиться толпой против толпы, люди расходятся врозь, нападают поодиночке и тотчас же бегут, когда на них нападают большими силами, а потом опять нападают, когда представляется случай. Это делали гверильясы в Испании; это делали горцы на Кавказе; это делали русские в 1812-м году.

Войну такого рода назвали партизанскою и полагали, что, назвав ее так, объяснили ее значение. Между тем такого рода война не только не подходит ни под какие правила, но прямо противуположна известному и признанному за непогрешимое тактическому правилу. Правило это говорит, что атакующий должен сосредоточивать свои войска с тем, чтобы в момент боя быть сильнее противника.

Партизанская война (всегда успешная, как показывает история) прямо противуположна этому правилу.

Противоречие это происходит оттого, что военная наука принимает силу войск тождественною с их числительностию. Военная наука говорит, что чем больше войско, тем больше силы. Les gros bataillons ont toujours raison[1].

Говоря это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении движущихся тел только по отношению к их массам, сказала бы, что силы их равны или не равны между собою потому, что равны или не равны их массы.

Сила (количество движения) есть произведение из массы на скорость.

В военном деле сила войск есть также произведение из массы на что-то другое, на какое-то неизвестное x.

Военная наука, видя в истории бесчисленное количество примеров того, что масса войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, смутно признает существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то,

---

1 Крупные боевые силы всегда одолевают.

самое обыкновенное, — в гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не доставляет результатов, согласных с историческими фактами.

А между тем стоит только отрешиться от установившегося, в угоду героям, ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны — и мы отыщем этот неизвестный x...

X это есть дух войска, т. е. большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или в двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими 30 раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки.

Дух войска есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки.

Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем произвольно подставлять, вместо значения всего неизвестного x, те условия, при которых проявляется сила, как-то: распоряжения полководца, вооружение и т. д., принимая их за значение множителя, а признаем это неизвестное во всей его цельности, т. е. как большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасности. Тогда только, выражая уравнениями известные исторические факты, можно, из сравнения относительного значения этого неизвестного, надеяться на определение самого неизвестного.

Десять человек, батальонов или дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, победили пятнадцать, т. е. убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли четыре; стало быть, уничтожились с одной стороны четыре, с другой стороны пятнадцать. Следовательно, четыре были равны пятнадцати, и следовательно $4x=15y$. Следовательно $x:y=15:4$. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно дает отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения исторических различно взятых единиц (сражений, кампаний, перио-

дов войн) получатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы.

Тактическое правило о том, что надо действовать массами при наступлении и разрозненно при отступлении, бессознательно подтверждает только ту истину, что сила войска зависит от его духа. Для того чтобы вести людей под ядра, нужно больше дисциплины, достигаемой только движением в массах, чем для того, чтоб отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из виду дух войска, беспрестанно оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит действительности там, где является сильный подъем или упадок духа войска, — во всех народных войнах.

Французы, отступая в 1812-м году, хотя и должны бы защищаться отдельно по тактике, жмутся в кучу, потому что дух войска упал так, что только масса сдерживает войско вместе. Русские, напротив, по тактике должны бы были нападать массой, на деле же раздробляются, потому что дух поднят так, что отдельные лица бьют без приказания французов и не нуждаются в принуждении для того, чтобы подвергать себя трудам и опасностям.

III

Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.

Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии — отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

24-го августа был учрежден первый партизанский отряд

Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем больше увеличивалось число этих отрядов.

Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собой сыпались с иссохшего дерева — французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие и помещичьи, никому неизвестные. Был начальником партии дьячок, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.

Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны. Тот первый период этой войны, во время которого партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую минуту быть пойманными и окруженными французами и, не расседлывая и почти не слезая с лошадей, прятались по лесам, ожидая всякую минуту погони, — уже прошел. Теперь уже война эта определилась, всем стало ясно, что можно было предпринять с французами и чего нельзя было предпринимать. Теперь уже только те начальники отрядов, которые с штабами, по правилам, ходили вдали от французов, считали еще многое невозможным. Мелкие же партизаны, давно уже начавшие свое дело и близко высматривавшие французов, считали возможным то, о чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же и мужики, лазившие между французами, считали, что теперь уже всё было возможно.

22-го октября Денисов, бывший одним из партизанов, находился с своей партиею в самом разгаре партизанской страсти. С утра он с своей партией был на ходу. Он целый день по лесам, примыкавшим к большой дороге, следил за большим французским транспортом кавалерийских вещей и русских пленных, отделившимся от других войск и под

сильным прикрытием, как это было известно от лазутчиков и пленных, направлявшимся к Смоленску. Про этот транспорт было известно не только Денисову и Долохову (тоже партизану с небольшою партией), ходившему близко от Денисова, но и начальникам больших отрядов с штабами: все знали про этот транспорт и, как говорил Денисов, точили на него зубы. Двое из этих больших отрядных начальников — один поляк, другой немец — почти в одно и то же время прислали Денисову приглашение присоединиться, каждый к своему отряду, с тем, чтобы напасть на транспорт.

— Нет, брат, я сам с усам, — сказал Денисов, прочтя эти бумаги, и написал немцу, что, несмотря на душевное желание, которое он имел служить под начальством столь доблестного и знаменитого генерала, он должен лишить себя этого счастья, потому что уже поступил под начальство генерала поляка. Генералу же поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил под начальство немца.

Распорядившись таким образом, Денисов намеревался, без донесения о том высшим начальникам, вместе с Долоховым атаковать и взять этот транспорт своими небольшими силами. Транспорт шел 22-го октября от деревни Микулиной к деревне Шамшевой. С левой стороны дороги от Микулина к Шамшеву шли большие леса, местами подходившие к самой дороге, местами отдалявшиеся от дороги на версту и больше. По этим-то лесам целый день, то углубляясь в середину их, то выезжая на опушку, ехал с партией Денисов, не выпуская из виду двигавшихся французов. С утра недалеко от Микулина, там, где лес близко подходил к дороге, казаки из партии Денисова захватили две ставшие в грязи фуры с кавалерийскими седлами и увели их в лес. С тех пор и до самого вечера партия, не нападая, следила за движением французов. Надо было, не испугав их, дать спокойно дойти до Шамшева и тогда, соединившись с Долоховым, который должен был к вечеру приехать на совещание к караулке в лесу (в версте от Шамшева), на рассвете пасть с двух сторон как снег на голову и побить и забрать всех разом.

Позади, в двух верстах от Микулина, там, где лес подходил

к самой дороге, было оставлено шесть казаков, которые должны были донести сейчас же, как только покажутся новые колонны французов.

Впереди Шамшева точно так же Долохов должен был исследовать дорогу, чтобы знать, на каком расстоянии есть еще другие французские войска. При транспорте предполагалось 1500 человек. У Денисова было 200 человек, у Долохова могло быть столько же. Но превосходство числа не останавливало Денисова. Одно только, что еще нужно было знать ему, это то, какие именно были эти войска; и для этой цели Денисову нужно было взять языка (т. е. человека из неприятельской колонны). В утреннее нападение на фуры дело сделалось с такою поспешностью, что бывших при фурах французов всех перебили и захватили живым только мальчишку-барабанщика, который был отсталый и ничего не мог сказать положительно о том, какие были войска в колонне.

Нападать другой раз Денисов считал опасным, чтобы не встревожить всю колонну, и потому он послал вперед в Шамшево бывшего при его партии мужика Тихона Щербатого захватить, ежели можно, хоть одного из бывших там французских передовых квартирьеров.

IV

Был осенний теплый дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой крупный дождь.

На породистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с которых струилась вода, ехал Денисов. Он так же, как и его лошадь, косившая голову и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густою, короткою, черною бородой лицо его казалось сердито.

Рядом с Денисовым, также в бурке и папахе, на сытом, крупном донце ехал казачий эсаул — сотрудник Денисова.

Эсаул Ловайский — третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский, как доска, белолицый, белокурый человек

с узкими, светлыми глазками и спокойно-самодовольным выражением и в лице и в посадке. Хотя и нельзя было сказать, в чем состояла особенность лошади и седока, но при первом взгляде на эсаула и Денисова видно было, что Денисову и мокро, и неловко, — что Денисов человек, который сел на лошадь; тогда как, глядя на эсаула, видно было, что ему так же удобно и покойно, как и всегда, и что он не человек, который сел на лошадь, а человек, составляющий вместе с лошадью одно увеличенное двойною силою существо.

Немного впереди их шел насквозь промокший мужичок проводник, в сером кафтане и белом колпаке.

Немного сзади, на худой, тонкой киргизской лошаденке с огромным хвостом и гривой и с продранными в кровь губами, ехал молодой офицер в синей французской шинели.

Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади мальчика в французском оборванном мундире и синем колпаке. Мальчик держался красными от холода руками за гусара, пошевеливал, стараясь согреть их, свои босые ноги и, подняв брови, удивленно оглядывался вокруг себя. Это был взятый утром французский барабанщик.

Сзади по три, по четыре, по узкой раскиснувшей и изъезженной лесной дороге тянулись гусары, потом казаки, кто в бурке, кто во французской шинели, кто в попоне, накинутой на голову. Лошади и рыжие, и гнедые, все казались воронымиот струившегося с них дождя. Шеи лошадей казались странно тонкими от смокшихся грив. От лошадей поднимался пар. И одежды, и седла, и поводья, всё было мокро, склизко и раскисло, так же как и земля и опавшие листья, которыми была уложена дорога. Люди сидели нахохлившись, стараясь не шевелиться, чтоб отогревать ту воду, которая пролилась до тела, и не пропускать новую холодную, подтекавшую под сиденья, колени и за шеи. В середине вытянувшихся казаков две фуры на французских и подпряженных в седлах казачьих лошадях громыхали по пням и сучьям и бурчали по наполненным водою колеям дороги.

Лошадь Денисова, обходя лужу, которая была на дороге, потянулась в сторону и толкнула его коленкой о дерево.

— Э, чорт! — злобно вскрикнул Денисов и, оскалив зубы, плетью раза три ударил лошадь, забрызгав себя и товарищей грязью. Денисов был не в духе: и от дождя, и от голода (с утра никто ничего не ел), и, главное, от того, что от Долохова до сих пор не было известий и посланный взять языка не возвращался.

«Едва ли выйдет другой такой случай, как нынче, напасть на транспорт. Одному нападать слишком рискованно, а отложить до другого дня — из-под носа захватит добычу кто-нибудь из больших партизанов», думал Денисов, беспрестанно взглядывая вперед, думая увидать ожидаемого посланного от Долохова.

Выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился.

— Едет кто-то, — сказал он.

Эсаул посмотрел по направлению, указываемому Денисовым.

— Едут двое — офицер и казак. Только не предположительно, чтобы был там сам подполковник,—сказал эсаул, любивший употреблять неизвестные казакам слова.

Ехавшие, спустившись под гору, скрылись из вида и через несколько минут опять показались. Впереди усталым галопом, погоняя нагайкой, ехал офицер — растрепанный, насквозь промокший и с взбившимися выше колен панталонами. За ним, стоя на стременах, рысил казак. Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким, румяным лицом и быстрыми, веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.

— От генерала, — сказал офицер, — извините, что не совсем сухо...

Денисов, нахмурившись, взял конверт и стал распечатывать.

— Вот говорили все, что опасно, опасно, — сказал офицер, обращаясь к эсаулу, в то время как Денисов читал поданный ему конверт. — Впрочем, мы с Комаровым, — он указал на казака, — приготовились. У нас по два писто... А это что ж? — спросил он, увидав французского барабанщи-

ка, — пленный? Вы уже в сраженьи были? Можно с ним поговорить?

— Ростов! Петя! — крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. — Да как же ты не сказал, кто ты? — И Денисов с улыбкой, обернувшись, протянул руку офицеру.

Офицер этот был Петя Ростов.

Во всю дорогу Петя приготавливался к тому, как он, как следует большому и офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым. Но как только Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, покраснел от радости и, забыв приготовленную официальность, начал рассказывать о том, как он проехал мимо французов, и как он рад, что ему дано такое поручение, и что он был уже в сражении под Вязьмой, и что там отличился один гусар.

— Ну, я рад тебя видеть, — перебил его Денисов, — и лицо его приняло опять озабоченное выражение.

— Михаил Феоклитыч, — обратился он к эсаулу, — ведь это опять от немца. Он при нем состоит. — И Денисов рассказал эсаулу, что содержание бумаги, привезенной сейчас, состояло в повторенном требовании от генерала-немца присоединиться для нападения на транспорт. — Ежели мы его завтра не возьмем, он у нас из-под носа вырвет, — заключил он.

В то время как Денисов говорил с эсаулом, Петя, сконфуженный холодным тоном Денисова и предполагая, что причиной этого тона было положение его панталон, под шинелью поправлял, так чтобы никто этого не заметил, взбившиеся панталоны, стараясь иметь вид как можно воинственнее.

— Будет какое приказание от вашего высокоблагородия? — сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и опять возвращаясь к игре в адъютанта и генерала, к которой он приготовился, — или должен я оставаться при вашем высокоблагородии?

— Приказания?.. — задумчиво сказал Денисов. — Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?

— Ах, пожалуйста... Можно мне при вас остаться? — вскрикнул Петя.

— Да как тебе именно велено от генерала — сейчас вернуться? — спросил Денисов. Петя покраснел.

— Да он ничего не велел. Я думаю, можно? — сказал он вопросительно.

— Ну, ладно, — сказал Денисов. И обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжение о том, чтоб партия шла к назначенному у караулки в лесу месту отдыха и чтоб офицер на киргизской лошади (офицер этот исполнял должность адъютанта) ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и придет ли он вечером. Сам же Денисов с эсаулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение.

— Ну, борода, — обратился он к мужику проводнику, — веди к Шамшеву.

Денисов, Петя и эсаул, сопутствуемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево, через овраг, к опушке леса.

V

Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов, эсаул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая по кореньям и мокрым листьям своими вывернутыми ногами в лаптях, вел их к опушке леса.

Выйдя на изволок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукой.

Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо через крутой овраг виднелась небольшая деревушка и барский домик с развалленными крышами. В этой деревушке, и в барском

доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в 200-х саженях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг друга.

— Пленного дайте сюда, — негромко сказал Денисов, не спуская глаз с французов.

Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать всё, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к эсаулу, сообщая ему свои соображения.

Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на эсаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего-нибудь важного.

— Придет не придет Долохов, надо брать!.. А? — сказал Денисов, весело блеснув глазами.

— Место удобное, — сказал эсаул.

— Пехоту низом пошлем — болотами, — продолжал Денисов, — они подлезут к саду; вы заедете с казаками оттуда, — Денисов указал на лес за деревней, — а я отсюда с своими гусарами. И по выстрелу...

— Лощиной нельзя будет, — трясина, — сказал эсаул. — Коней увязишь, надо объезжать полевее...

В то время как они вполголоса говорили таким образом, внизу, в лощине от пруда, щелкнул один выстрел, другой, забелелся дымок и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов и эсаул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к

ним. Низом по болотам бежал человек в чем-то красном. Очевидно, по нем стреляли и на него кричали французы.

— Ведь это Тихон наш, — сказал эсаул.

— Он! он и есть!

— Эка шельма, — сказал Денисов.

— Уйдет! — щуря глаза сказал эсаул.

Человек, которого они называли Тихоном, подбежал к речке, булдыхнулся в нее так, что брызги полетели и, скрывшись на мгновенье, выбрался на четвереньках, весь черный от воды, и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились.

— Ну, ловок, — сказал эсаул.

— Экая бестия! — с тем же выражением досады проговорил Денисов. — И что он делал до сих пор?

— Это кто? — спросил Петя.

— Это наш пластун. Я его посылал языка взять.

— Ах, да, — сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он всё понял, хотя он решительно не понял ни одного слова.

Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда при начале своих действий Денисов пришел в Покровское и, как всегда, призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, староста отвечал, как отвечали и все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель бить французов и когда он спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что мародеры бывали, точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.

— Мы французам худого не делаем, — сказал Тихон, видимо оробев при этих словах Денисова. — Мы только так,

значит, по охоте баловались с ребятами. Мародеров, точно, десятка два побили, а то мы худого не делали... — На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтоб его при ней оставили. Денисов велел оставить его.

Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собою в разъезды и зачислил в казаки.

Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывал толстые кости. Тихон одинаково верно со всего размаха раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрогивал им тонкие колушки и вырезывал ложки. В партии Денисова Тихон занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что-нибудь особенно трудное и гадкое — выворотить плечом из грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, пройти в день 50 верст,—все указывали, посмеиваясь, на Тихона.

— Что ему, чорту, делается, меренина здоровенный, — говорили про него.

Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой, внутренно и наружно, была предметом самых веселых шуток во всем отряде, и шуток, которым охотно поддавался Тихон.

— Что, брат, не будешь? Али скрючило? — смеялись ему казаки, и Тихон, нарочно скорчившись и делая рожи, притворяясь, что он сердится, самыми смешными ругательствами

бранил французов. Случай этот имел на Тихона только то влияние, что после своей раны он редко приводил пленных.

Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не пробрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисовым, в ночь еще, в Шамшево для того, чтобы взять языка. Но или потому, что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты, в самую середину французов, и, как видел с горы Денисов, был открыт ими.

VI

Поговорив еще несколько времени с эсаулом о завтрашнем нападении, которое теперь, глядя на близость французов, Денисов, казалось, окончательно решил, он повернул лошадь и поехал назад.

— Ну, брат, теперь поедем обсушимся, — сказал он Пете.

Подъезжая к лесной караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу между деревьев большими легкими шагами шел на длинных ногах, с длинными мотающимися руками, человек в куртке, лаптях и казанской шляпе, с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек этот поспешно швырнул что-то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это был Тихон. Изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем. Он высоко поднял голову и, как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова.

— Ну, где пропадал? — сказал Денисов.

— Где пропадал? За французами ходил, — смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но певучим басом.

— Зачем же ты днем полез? Скотина! Ну, что ж не взял?..

— Взять-то взял, — сказал Тихон.

— Где ж он?

— Да я его взял сперва-наперво на зорьке еще, — про-

должал Тихон, переставляя пошире плоские вывернутые ноги в лаптях, — да и свел в лес. Вижу — не ладен. Думаю, дай схожу, другого поаккуратнее какого возьму.

— Ишь шельма, так и есть, — сказал Денисов эсаулу. — Зачем же ты этого не привел?

— Да что ж его водить-то? — сердито и поспешно перебил Тихон. — Не гожающий. Разве я не знаю, каких вам надо?

— Эка бестия!.. Ну?..

— Пошел за другим, — продолжал Тихон, — подполз я таким манером в лес да и лег. — Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это сделал. — Один и навернись, — продолжал он. — Я его таким манером и сгреб. — Тихон быстро и легко вскочил. — Пойдем, говорю, к полковнику. Как загалдит! А их тут четверо. Бросились на меня с шпажками. Я на них таким манером топором: что вы, мол, Христос с вами, — вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь.

— То-то мы с горы видели как ты стречка задавал, через лужи-то, — сказал эсаул, суживая свои блестящие глаза.

Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро переводил глаза с лица Тихона на лицо эсаула и Денисова, не понимая, что всё это значило.

— Ты дурака-то не представляй,— сказал Денисов, сердито покашливая. — Зачем первого не привел?

Тихон стал чесать одною рукой спину, другою голову, и вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба (за что он и прозван Щербатый). Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон.

— Да что, совсем несправный, — сказал Тихон. — Одежонка плохенькая на нем, куда же его водить-то. Да и грубиян, ваше благородие. Как же, говорит, я сам анаральский сын, не пойду, говорит.

— Экая скотина! — сказал Денисов. — Мне расспросить надо...

— Да я его спрашивал, — сказал Тихон. — Он говорит: плохо знáком. Наших, говорит, и много, да всё плохие; только, говорит, одна названия. Ахните, говорит, хорошенько, всех заберете, — заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова.

— Вот я тебе всыплю сотню горячих, ты и будешь дурака-то корчить, — сказал Денисов строго.

— Да что же серчать-то, — сказал Тихон, — что ж я не видел французов ваших? Вот дай позатемнеет, я тебе каких хошь, хоть троих приведу.

— Ну, поедем, — сказал Денисов. И до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча.

Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких-то сапогах, которые он бросил в куст.

Когда прошел смех, овладевший им при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновенье, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что-то кольнуло его в сердце. Но эта неловкость продолжалась только одно мгновенье. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии с тем, чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился.

Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет, и что с его стороны всё благополучно.

Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю.

— Ну, расскажи ты мне про себя, — сказал он.

VII

Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и скоро после этого был взят ординарцем к генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры и в особенности с поступления в действующую армию, где он участвовал в

Вяземском сражении, Петя находился в постоянно счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему всё казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее, геройское. И он торопился поспеть туда, где его теперь не было.

Когда 21-го октября его генерал выразил желание послать кого-нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но отправляя его, генерал, поминая безумный поступок Пети в Вяземском сражении, где Петя, вместо того чтоб ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета,—отправляя его, генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова. От этого-то Петя покраснел и смешался, когда Денисов спросил, можно ли ему остаться. До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому, решил сам с собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, — дрянь, немец, что Денисов герой, и эсаул герой, и Тихон герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту.

Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и эсаулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, прилаживавшие шалашики на поляне и (чтобы не видели дыма французы) разводившие красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе были три офицера из партии Денисова, устраивавшие стол из двери. Петя снял и отдал сушить свое мокрое платье и тотчас же принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола.

Через десять минут был готов стол, покрытый салфеткой. На столе была водка, ром в фляжке, белый хлеб и жареная баранина с солью.

Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную, душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей.

— Так что же вы думаете, Василий Федорович, — обратился он к Денисову, — ничего, что я с вами останусь на денек? — И не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе: — Ведь мне велено узнать, ну вот я и узнаю... Только вы меня пустите в самую... в главную... Мне не нужно наград... А мне хочется.

Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая кверху поднятой головою и размахивая рукой.

— В самую главную... — повторил Денисов улыбаясь.

— Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтоб я командовал, — продолжал Петя, — ну, что вам стоит? Ах, вам ножик? — обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины. И он подал свой складной ножик.

Офицер похвалил ножик.

— Возьмите, пожалуйста, себе. У меня много таких... — покраснев, сказал Петя. — Батюшки! Я и забыл совсем, — вдруг вскрикнул он. — У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. У нас маркитант новый, и такие прекрасные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что-нибудь сладкое. Хотите?.. — И Петя побежал в сени к своему казаку и принес торбы, в которых было фунтов пять изюму. — Кушайте, господа, кушайте.

— А то не нужно ли вам кофейник? — обратился он к эсаулу. — Я у нашего маркитанта купил, чудесный! У него прекрасные вещи. И он честный очень. Это главное. Я вам пришлю непременно. А может быть еще, у вас вышли, обились кремни, — ведь это бывает. Я взял с собою, у меня вот тут... — он показал на торбы, — сто кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно, а то и

все... — И вдруг испугавшись, не заврался ли он, Петя остановился и покраснел.

Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких-нибудь глупостей. И перебирая воспоминания нынешнего дня, он остановился на воспоминании о французе-барабанщике. «Нам-то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили ли его? Не обидели ли?» подумал он. Но заметив, что заврался о кремнях, он теперь боялся.

«Спросить бы можно?» думал он, «да скажут: сам мальчик и мальчика пожалел. Я им покажу завтра, какой я мальчик! Стыдно будет, если я спрошу?» думал Петя. «Ну, да все равно!» — И тотчас же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал:

— А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? дать ему чего-нибудь поесть... может...

— Да, жалкий мальчишка, — сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. — Позвать его сюда.

— Vincent Bosse[1] его зовут. Позвать его.

— Я позову, — сказал Петя.

— Позови, позови. Жалкий мальчишка, — повторил Денисов.

Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову.

— Позвольте вас поцеловать, голубчик, — сказал он. — Ах, как отлично! как хорошо! — И, поцеловав Денисова, он побежал на двор.

— Bosse! Vincent![1] — прокричал Петя, остановясь у двери.

— Вам кого, сударь, надо? — сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика-француза, которого взяли нынче.

— А! Весеннего? — сказал казак.

Имя его Vincent уже переделали казаки в Весеннего, а мужики и солдаты в Висеню. В обеих переделках это напо-

---

[1] Венсан Босс

минание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике.

— Он там у костра грелся. Эй, Висеня! Висеня! Весенний! — послышались в темноте передающиеся голоса и смех.

— А мальчонок шустрый, — сказал гусар, стоявший подле Пети.

— Мы его покормили давеча. Страсть, голодный был!

В темноте послышались шаги, и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери.

— Ah, c'est vous!— сказал Петя.— Voulez-vous manger? N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal,—прибавил он, робко и ласково дотрогиваясь до его руки. — Entrez[1].

— Merci, monsieur[2],—отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он переминаясь стоял подле него в сенях. Потом в темноте взял его за руку и пожал ее.

— Entrez, entrez[3], — повторил он только нежным шопотом.

«Ах, что бы мне ему сделать!» — проговорил сам с собою Петя и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика.

Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупывал в кармане деньги и был в сомненьи, не стыдно ли будет дать их барабанщику.

VIII

От барабанщика, которому, по приказанию Денисова, дали водки и баранины и которого Денисов велел одеть в русский кафтан с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. Петя в армии слышал много рассказов про необычай-

---

[1] Ах, это вы! Хотите есть? Не бойтесь, вам ничего не сделают. Войдите.

[2] Благодарю, господин,

[3] Войдите, войдите,

ную храбрость и жестокость Долохова с французами, и потому с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, не спуская глаз, смотрел на него и всё больше подбадривался, подергивая поднятою головой, с тем, чтобы не быть недостойным даже и такого общества, как Долохов.

Наружность Долохова странно поразила Петю своею простотой.

Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая-чудотворца и в манере говорить, во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же, прежде, в Москве носивший персидский костюм, теперь, напротив, имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице, и в прямо надетой, простой фуражке. Он снял в углу мокрую бурку и, подойдя к Денисову, не здороваясь ни с кем, тотчас же стал расспрашивать о деле. Денисов рассказывал ему про замыслы, которые имели на их транспорт большие отряды, и про присылку Пети, и про то, как он отвечал обоим генералам. Потом Денисов рассказал про всё, что он знал о положении французского отряда.

— Это так, но надо знать, какие и сколько войск, — сказал Долохов, — надо будет съездить. Не зная верно, сколько их, пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать. Вот не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь? У меня и мундир с собою.

— Я, я... я поеду с вами! — вскрикнул Петя.

— Совсем тебе не нужно ездить, — сказал Денисов, обращаясь к Долохову, — а уж его я ни за что не пущу.

— Вот прекрасно! — вскрикнул Петя, — отчего же мне не ехать?..

— Да оттого что не за чем.

— Ну, уж вы меня извините, потому что... потому что... я поеду, вот и всё. Вы возьмете меня? — обратился он к Долохову.

— Отчего ж?.. — рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика.

— Давно у тебя молодчик этот? — спросил он у Денисова.

— Нынче взяли, да ничего не знает. Я оставил его при себе.

— Ну, а остальных ты куда деваешь? — сказал Долохов.

— Как куда? Отсылаю под расписки! — вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. — И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Разве тебе трудно отослать тридцать ли, триста ли человек под конвоем в город, чем марать, я прямо скажу, честь солдата.

— Вот молоденькому графчику в шестнадцать лет говорить эти любезности прилично, — с холодною усмешкой сказал Долохов, — а тебе-то уж это оставить пора.

— Что ж, я ничего не говорю, я только говорю, что я непременно поеду с вами, — робко сказал Петя.

— А нам с тобою пора, брат, бросить эти любезности, — продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. — Ну, этого ты зачем взял к себе?—сказал он, покачивая головой. — Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их сто человек, а придут тридцать. Помрут с голоду или побьют. Так не всё ли равно их и не брать?

Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой.

— Это всё равно, тут рассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говоришь — помрут. Ну, хорошо, только бы не от меня.

Долохов засмеялся.

— Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают — меня и тебя с твоим рыцарством всё равно на осинку. — Он помолчал. — Однако надо дело делать. Послать моего казака с вьюком! У меня два французских мундира. Что ж, едем со мной? — спросил он у Пети.

— Я? Да, да, непременно, — покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова.

Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал нелов-

кость и торопливость; но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают большие, известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо, — думал он. — А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может — и я могу».

На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он тоже привык всё делать аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает.

— Потому что — согласитесь сами — если не знать верно, сколько там, от этого зависит жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни. И потом мне очень этого, очень хочется, и непременно, непременно поеду, вы уж меня не удержите, — говорил он, — только хуже будет...

IX

Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупною рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом.

— Если попадемся, я живым не отдамся, у меня пистолет, — прошептал Петя.

— Не говори по-русски, — быстрым шопотом проговорил Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался окрик: «qui vive?» [1]

Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет.

— Lanciers du 6-me [2], — проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура часового стояла на мосту.

---

[1] кто идет?

[2] Уланы 6-го полка.

— Mot d'ordre?[1] — Долохов придержал лошадь и поехал шагом.

— Dites donc, le colonel Gérard est ici?[2]—сказал он.

— Mot d'ordre![1]—не отвечая сказал часовой, загораживая дорогу.

— Quand un officier fait sa ronde, les sentinelles ne demandent pas le mot d'ordre...—крикнул Долохов, вдруг вспыхнув, наезжая лошадью на часового.—Je vous demande si le colonel est ici?[3]

И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Долохов шагом поехал в гору.

Заметив черную тень человека, переходящего через дорогу, Долохов остановил этого человека и спросил, где командир и офицеры? Человек этот с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошел к лошади Долохова, дотрагиваясь до нее рукою, и просто и дружелюбно рассказал, что командир и офицеры были выше на горе с правой стороны на дворе фермы (так он называл господскую усадьбу).

Проехав по дороге, с обеих сторон которой звучал от костров французский говор, Долохов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошел к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что-то, и солдат в колпаке и синей шинели, стоя на коленях, ярко освещенный огнем, мешал в нем шомполом.

— Oh, c'est un dur à cuire[4],—говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра.

—Il les fera marcher les lapins...[5]— со смехом сказал другой. Оба замолкли, вглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру с своими лошадьми.

— Bonjour, messieurs[6],—громко, отчетливо выговорил Долохов.

---

[1] Отзыв?

[2] Скажите, здесь ли полковник Жерар?

[3] Когда офицер объезжает цепь, часовые не спрашивают отзыва. Я спрашиваю, тут ли полковник?

[4] С этим чортом не следишь...

[5] Он их проберет, —

[6] Здравствуйте, господа!

Офицеры зашевелились в тени костра и один высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошел к Долохову.

— C'est vous, Clément? — сказал он. — D'où, diable...[1] — но он не докончил, узнав свою ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незнакомым поздоровался с Долоховым, спрашивая его, чем он может служить. Долохов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк, и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего-нибудь о 6-м полку. Никто ничего не знал, и Пете показалось, что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Долохова. Несколько секунд все молчали.

— Si vous comptez sur la soupe du soir, vous venez trop tard[2], — сказал с сдержанным смехом голос из-за костра.

Долохов отвечал, что они сыты и что им надо в ночь же ехать дальше.

Он отдал лошадей солдату, мешавшему в котелке, и на корточках присел у костра рядом с офицером с длинною шеей. Офицер этот, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз: какого он был полка? Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая французскую трубку, которую он достал из кармана, спрашивал офицеров о том, в какой степени дорога впереди их безопасна от казаков.

— Les brigands sont partout[3], — отвечал офицер из-за костра.

Долохов сказал, что казаки страшны только для таких отсталых, как он с товарищем, но что на большие отряды казаки, вероятно, не смеют нападать, прибавил он вопросительно. Никто ничего не ответил.

«Ну, теперь он уедет», всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор.

Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне,

---

[1] Это вы, Клеман? Откуда, чорт...

[2] Если вы рассчитываете на ужин, то вы опоздали.

[3] Эти разбойники везде.

сколько батальонов, сколько пленных. Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал:

—La vilaine affaire de tr ner ces c davres après soi. Vaudrait mieux fusiller cette canaille[1], — и громко засмеялся таким страшным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман, и он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер, которого не видно было (он лежал укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми.

«Подадут или нет лошадей?» думал Петя, невольно приближаясь к Долохову.

Лошадей подали.

— Bonjour, messieurs[2], — сказал Долохов.

Петя хотел сказать bonsoir[3] и не мог договорить слова. Офицеры что-то шопотом говорили между собою. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла; потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтобы увидать, бегут или не бегут за ними французы.

Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь.

— Слышишь? — сказал он.

Петя узнал звуки русских голосов, увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не сказав, мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки.

— Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре, по первому выстрелу, —, сказал Долохов и хотел ехать, но Петя схватился за него рукою.

---

[1] Противное дело таскать за собой эти трупы. Лучше бы расстрелять эту сволочь.

[2] Прощайте, господа.

[3] добрый вечер

— Нет! — вскрикнул он, — вы такой герой. Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю!

— Хорошо, хорошо, — сказал Долохов, но Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.

X

Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его.

— Слава богу! — крикнул он. — Ну, слава богу! — повторил он, слушая восторженный рассказ Пети. — И чорт тебя возьми, из-за тебя не спал! — проговорил Денисов. — Ну, слава богу, теперь ложись спать. Еще вздремнем до утра.

— Да... Нет, — сказал Петя. — Мне еще не хочется спать. Да и я себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением.

Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор.

На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и в овраге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали: кое-где слышались, вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей, негромкие, как бы шепчущиеся голоса.

Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней.

— Ну, Карабах, завтра послужим, — сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее.

— Что, барин, не спите? — сказал казак, сидевший под фурой.

— Нет; а... Лихачев, кажется, тебя звать? Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам. — И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил и почему он считает, что лучше рисковать своею жизнью, чем делать наобум Лазаря.

— Что же, соснули бы, — сказал казак.

— Нет, я привык, — отвечал Петя. — А что у вас кремни в пистолетах не обились? Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми.

Казак высунулся из-под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю.

— Оттого, что я привык всё делать аккуратно, — сказал Петя. — Иные так, кое-как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю.

— Это точно, — сказал казак.

— Да еще вот что, пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю; затупи... (но Петя боялся солгать) она никогда отточена не была. Можно это сделать?

— Отчего ж, можно.

Лихачев встал, порылся в вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали и бруска. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.

— А что же, спят молодцы? — сказал Петя.

— Кто спит, а кто так вот.

— Ну, а мальчик что?

— Весенний-то? Он там в сенцах завалился. Со страху спится. Уж рад-то был.

Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги и показалась черная фигура.

— Что точишь? — спросил человек, подходя к фуре.

— А вот барину наточить саблю.

— Хорошее дело, — сказал человек, который показался Пете гусаром. — У вас, что ли, чашка осталась?

— А вон у колеса. — Гусар взял чашку. — Небось, скоро свет, — проговорил он зевая и прошел куда-то.

Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо — караулка, и красное яркое пятно внизу налево — догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, — гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть, глаза огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц — всё лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это — самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду, и совсем исчез, и его не было.

Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором всё было возможно.

Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем так, что рукой можно было достать его.

Петя стал закрывать глаза и покачиваться.

Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то.

— Ожиг, жиг, ожиг, жиг... — свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравший какой-то неизвестный торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален так же, как и Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла всё слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы — но лучше и чище, чем скрипки и трубы — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно, и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.

«Ах да, ведь это я во сне», качнувшись наперед, сказал себе Петя. «Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!..»

Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять всё соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое. Сколько хочу и как хочу», сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.

«Ну, тише, тише, замирайте теперь». И звуки слушались его. «Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее». И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. «Ну, голоса, приставайте!» приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.

С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него.

Петя не знал, как долго это продолжалось: он наслаждался, всё время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева.

— Готово, ваше благородие, надвое француза распластаете.

Петя очнулся.

— Уж светает, право светает! — вскрикнул он.

Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.

— Вот и командир, — сказал Лихачев.

Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.

XI

Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодною водой, лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что-то быстро и равномерно дрожало.

— Ну, готово у вас всё? — сказал Денисов. — Давай лошадей.

Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь по привычке хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.

— Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь. По-

жалуйста... ради бога... — сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.

— Об одном тебя прошу, — сказал он строго: — слушаться меня и никуда не соваться.

Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что-то шопотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле всё усиливалась. Становилось всё светлее и светлее, только туман скрывал отдельные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.

— Сигнал! — проговорил он. Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.

В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крики, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг, совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие-то люди — должно быть, это были французы — бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.

У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе и первое, что он увидал, было бледное с трясущеюся нижнею челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.

— Ура!.. Ребята... наши... — прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.

Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги,

все громко и нескладно кричали что-то. Молодцоватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. «Опять опоздал», мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова, с бледным зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» кричал он в то время, как Петя подъехал к нему.

— Подождать?.. Урааааа!.. — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы, в колеблющемся густом дыме, одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того, чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и всё дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.

Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

— Готов, — сказал он нахмурившись и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

— Убит?! — вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

— Готов, — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. — Брать не будем! — крикнул он Денисову.

Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.

В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.

. . . . . .

Перед восходом солнца его разбудили громкие, частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы.

— Les cosaques![1] — прокричал один из них, и через минуту толпа русских лиц окружила Пьера.

Долго не мог Пьер понять того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей.

— Братцы! Родимые мои, голубчики! — плача кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова; он обнял первого подошедшего к нему солдата и плача целовал его.

Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их

---

[1] Казаки!

замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах.

— Сколько? — спросил Долохов у казака, считавшего пленных.

— На вторую сотню, — отвечал казак.

— Filez, filez[1]. — приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском.

Денисов с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, несших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.

10

БЕГСТВО ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ

(Том IV, часть III, гл. XVI—XVIII)

С 28-го октября, когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер замерзающих и изжаривающихся насмерть у костров людей и продолжающих в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, королей и герцогов; но в сущности своей процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился.

От Москвы до Вязьмы из 73-х тысячной французской армии, не считая гвардии (которая во всю войну ничего не делала, кроме грабежа) из 73-х тысяч осталось 36 тысяч (из этого числа не более пяти тысяч выбыло в сражениях). Вот первый член прогрессии, которым математически верно определяются последующие. Французская армия в той же пропорции таяла и уничтожалась от Москвы до Вязьмы, от Вязьмы до Смоленска, от Смоленска до Березины, от Березины до Вильны, независимо от большей или меньшей степени холода, преследования, заграждения пути и всех других условий, взятых отдельно. После Вязьмы войска французские вместо трех колонн сбились в одну кучу и так шли до конца. Бертье писал своему госу-

---

[1] Проходи, проходи.

дарю (известно, как отдаленно от истины позволяют себе начальники описывать положение армии). Он писал:

«Считаю долгом донести вашему величеству о состоянии различных корпусов, осмотренных мною в различных переходах эти последние три дня. Они почти в разброде. Едва четвертая часть солдат остается при знаменах своего полка, прочие идут сами по себе по разным направлениям, стараясь сыскать пропитание и избавиться от дисциплины. Все думают только о Смоленске, где надеются отдохнуть. В последние дни замечено было, что много солдат побросали патроны и ружья. При таком состоянии дел, какие бы ни были ваши дальнейшие намерения, во имя успешной службы вашему величеству требуется собрать корпуса в Смоленске и отделить от них негодных в строю, как-то: спешенных кавалеристов, безоружных, лишние обозы и часть артиллерии, ибо она теперь не в соразмерности с числом войск. Необходимо продовольствие и несколько дней покоя; солдаты изнурены голодом и усталостью; в эти последние дни многие умерли на дороге и на биваках. Такое бедственное положение беспрестанно усиливается и заставляет опасаться, что если не будут приняты быстрые меры для предотвращения зла, мы скоро не будем в состоянии управлять войском во время сражения.

9 ноября в 30-ти верстах от Смоленска».

Ввалившись в Смоленск, представлявшийся им обетованною землей, французы убивали друг друга за провиант, ограбили свои же магазины и, когда всё было разграблено, побежали дальше.

Все шли, сами не зная куда и зачем они идут. Еще менее других знал это гений Наполеона, так как никто ему не приказывал. Но все-таки он и его окружающие соблюдали свои давнишние привычки: писались приказы, письма, рапорты, ordre du jour [1]; называли друг друга: «Sire, Mon Cousin, Prince d'Ekmuhl, roi de Nâples»[2] и т. д. Но приказы и рапорты были только на бумаге, ничто по ним не исполнялось, потому что не

[1] расписание дня

[2] Ваше величество, брат мой, принц Экмюльский, король неаполитанский

могло исполняться, и несмотря на именование друг друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много зла, за которое теперь приходилось расплачиваться. И несмотря на то, что они притворялись, будто заботятся об армии, они думали только каждый о себе и о том, как бы поскорее уйти и спастись.

Действия русского и французского войск во время обратной кампании от Москвы и до Немана подобны игре в жмурки, когда двум играющим завязывают глаза и один изредка звонит колокольчиком, чтобы уведомить о себе ловящего. Сначала тот, кого ловят, звонит, не боясь неприятеля, но когда ему приходится плохо, он, стараясь неслышно итти, убегает от своего врага и часто, думая убежать, идет прямо к нему в руки.

Сначала наполеоновские войска еще давали о себе знать — это было в первый период движения по Калужской дороге, но потом, выбравшись на Смоленскую дорогу, они побежали, прижимая рукой язычок колокольчика, и часто, думая, что они уходят, набегали прямо на русских.

При быстроте бега французов и за ними русских и при изнурении вследствие того лошадей, главного средства приблизительного узнавания положения, в котором находится неприятель,—разъездов кавалерии не существовало. Кроме того, вследствие частых и быстрых перемен положений обеих армий, сведения, какие и были, не могли поспевать во время. Если второго числа приходило известие о том, что армия неприятеля была там-то первого числа, то третьего числа, когда можно было предпринять что-нибудь, уже армия эта сделала два перехода и находилась совсем в другом положении.

Одна армия бежала, другая догоняла. От Смоленска французам предстояло много различных дорог; и казалось бы тут, простояв четыре дня, французы могли бы узнать, где неприятель, сообразить что-нибудь выгодное и предпринять что-нибудь новое. Но после четырехдневной остановки толпы их

опять побежали не вправо, не влево, но без всяких маневров и соображений, по старой, худшей дороге, на Красное и Оршу — по пробитому следу.

Ожидая врага сзади, а не спереди, французы бежали, растянувшись и разделившись друг от друга на 24 часа расстояния. Впереди всех бежал император, потом короли, потом герцоги. Русская армия, думая, что Наполеон возьмет вправо за Днепр, что было одно разумно, подалась тоже вправо и вышла на большую дорогу к Красному. И тут, как в игре в жмурки, французы наткнулись на наш авангард. Неожиданно увидав врага, французы смешались, приостановились от неожиданности испуга, но потом опять побежали, бросая своих сзади следовавших товарищей. Тут, как сквозь строй русских войск, проходили три дня одна за одною отдельные части французов, сначала вице-короля, потом Даву, потом Нея. Все они побросали друг друга, побросали все свои тяжести, артиллерию, половину народа и убегали, только по ночам справа полукругами обходя русских.

Ней, шедший последним, потому что (несмотря на несчастное их положение, или именно вследствие его, им хотелось побить тот пол, который ушиб их) он занялся взрыванием никому не мешавших стен Смоленска, — шедший последним, Ней, с своим 10-ти тысячным корпусом, прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки, и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр.

От Орши побежали дальше по дороге в Вильну, точно так же играя в жмурки с преследующею армией. На Березине опять замешались, многие потонули, многие сдались, но те, которые перебрались через реку, побежали дальше. Главный начальник их надел шубу и, сев в сани, поскакал один, оставив своих товарищей. Кто мог, — уехал тоже, кто не мог, — сдался или умер.

Казалось бы, в этой-то кампании бегства французов, когда они делали все то, что только можно было, чтобы погубить

себя; когда ни в одном движении этой толпы, начиная от поворота на Калужскую дорогу и до бегства начальника от армии, не было ни малейшего смысла, — казалось бы, в этот период кампании невозможно уже историкам, приписывающим действия масс воле одного человека, описывать это отступление в их смысле. Но нет. Горы книг написаны историками об этой кампании, и везде описаны распоряжения Наполеона, и глубокомысленные его планы-маневры, руководившие войском, и гениальные распоряжения его маршалов.

Отступление от Малоярославца тогда, когда ему дают дорогу в обильный край и когда ему открыта та параллельная дорога, по которой потом преследовал его Кутузов, ненужное отступление по разоренной дороге объясняется нам по разным глубокомысленным соображениям. По таким же глубокомысленным соображениям описывается его отступление от Смоленска на Оршу. Потом описывается его геройство при Красном, где он будто бы готовился принять сражение и сам командовать и ходит с березовой палкою и говорит:

— J'ai assez fait l'Empereur, il est temps de fair le général[1], — и, несмотря на то, тотчас же после этого бежит дальше, оставляя на произвол судьбы разрозненные части армии, находящиеся сзади.

Потом описывают нам величие души маршалов, в особенности Нея, — величие души, состоящее в том, что он ночью пробрался лесом, в обход через Днепр и без знамен и артиллерии и без девяти десятых войска прибежал в Оршу.

И наконец последний отъезд великого императора от геройской армии представляется нам историками как что-то великое и гениальное. Даже этот последний поступок бегства, на языке человеческом называемый последней степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание.

Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже

---

[1] Довольно уже я представлял императора, теперь время быть генералом.

явно противно тому, что всё человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.

«C'est grand!»[1]— говорят историки, и тогда уже нет ни хорошего, ни дурного, а есть «grand» и «ne grand». Grand— хорошо, не grand—дурно.Grand есть свойство, по их понятиям, каких-то особенных существ, называемых ими героями. И Наполеон, убираясь в теплой шубе домой от гибнущих не только товарищей, но (по его мнению) людей, им приведенных сюда, чувствует, que c'est grand, и душа его покойна.

«Du sublime (он что-то sublime видит в себе) au ridicule il n'y a qu'un pas»[2],—говорит он. И весь мир 50 лет повторяет: «Sublime! Grand! Napoléon le grand! Du sublime au ridicule il'n'y a qu'un pas»[3].

И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Для нас, с данною нам Христом мерою хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды.

11

ХАРАКТЕРИСТИКА КУТУЗОВА

(Том IV, часть IV, гл. IV—V)

После столкновения при Вязьме, где Кутузов не мог удержать свои войска от желания опрокинуть, отрезать и т. д., дальнейшее движение бежавших французов и за ними бежавших русских, до Красного, происходило без сражений.

---

[1] Это величественно!

[2] От величественного до смешного только один шаг.

[3] Величественное! Великое! Наполеон Великий. От величественного до смешного только шаг.

Бегство было так быстро, что бежавшая за французами русская армия не могла поспевать за ними, что лошади в кавалерии и артиллерии становились, и что сведения о движении французов были всегда неверны.

Люди русского войска были так измучены этим непрерывным движением по 40 верст в сутки, что не могли двигаться быстрее.

Чтобы понять степень истощения русской армии, надо только ясно понять значение того факта, что, потеряв ранеными и убитыми во всё время движения от Тарутина не более пяти тысяч человек, не потеряв сотни людей пленными, армия русская, вышедшая из Тарутина в числе ста тысяч, пришла к Красному в числе пятидесяти тысяч.

Быстрое движение русских за французами действовало на русскую армию точно так же разрушительно, как и бегство на французов. Разница была только в том, что русская армия двигалась произвольно, без угрозы погибели, которая висела над французской армией, и в том, что отсталые больные у французов оставались в руках врага, а отсталые русские оставались у себя дома. Главная причина уменьшения армии Наполеона была быстрота движения; и несомненным доказательством тому служит соответственное уменьшение русских войск.

Вся деятельность Кутузова, как это было под Тарутиным и под Вязьмой, была направлена только к тому, чтобы, насколько то было в его власти, не останавливать этого гибельного для французов движения (как хотели в Петербурге и в армии русские генералы), а содействовать ему и облегчить движение своих войск.

Но кроме того, со времени выказавшихся в войсках утомления и огромной убыли, происходивших от быстроты движения, еще другая причина представлялась Кутузову для замедления движения войск и для выжидания. Цель русских войск была — следование за французами. Путь французов был неизвестен, и потому, чем ближе следовали наши войска по пятам французов, тем больше они проходили дороги. Только следуя в некотором расстоянии, можно было по крат-

чайшему пути перерезывать зигзаги, которые делали французы. Все искусные маневры, которые предлагали генералы, выражались в передвижениях войск, в увеличении переходов, а единственно разумная цель состояла в том, чтобы уменьшить эти переходы. И к этой цели во всю кампанию от Москвы до Вильны была направлена деятельность Кутузова—не случайно, не временно, но так последовательно, что он ни разу не изменил ей.

Кутузов знал не умом или наукой, а всем русским существом своим, знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский солдат, что французы побеждены, что враги бегут, и надо выпроводить их; но вместе с тем он чувствовал, заодно с солдатами, всю тяжесть этого, неслыханного по быстроте и времени года, похода.

Но генералам, в особенности не русским, желавшим отличиться, удивить кого-то, забрать в плен для чего-то какого-нибудь герцога или короля, — генералам этим казалось теперь, когда всякое сражение было и гадко и бессмысленно, им казалось, что теперь-то самое время давать сражения и побеждать кого-то. Кутузов только пожимал плечами, когда ему один за другим представляли проекты маневров с теми дурно обутыми, без полушубков, полуголодными солдатами, которые в один месяц, без сражений, растаяли до половины и с которыми, при наилучших условиях продолжающегося бегства, надо было пройти до границы пространство больше того, которое было пройдено.

В особенности это стремление отличиться и маневрировать, опрокидывать и отрезывать проявлялось тогда, когда русские войска наталкивались на войска французов.

Так это случилось под Красным, где думали найти одну из трех колонн французов и наткнулись на самого Наполеона с 16-ю тысячами. Несмотря на все средства, употребленные Кутузовым для того, чтобы избавиться от этого пагубного столкновения и чтобы сберечь свои войска, три дня у Красного продолжалось добивание разбитых сборищ французов измученными людьми русской армии.

Толь написал диспозицию: die erste Colonne marschirt[1] и т. д. И, как всегда, сделалось всё не по диспозиции. Принц Евгений Виртембергский расстреливал с горы мимо бегущие толпы французов и требовал подкрепления, которое не приходило. Французы, по ночам обегая русских, рассыпались, прятались в леса и пробирались, кто как мог дальше.

Милорадович, который говорил, что он знать ничего не хочет о хозяйственных делах отряда, которого никогда нельзя было найти, когда его было нужно, «chevalier sans peur et sans reproche»[2], как он сам называл себя, и охотник до разговора с французами, посылал парламентеров, требуя сдачи, терял время и делал не то, что ему приказывали.

— Дарю вам, ребята, эту колонну,— говорил он, подъезжая к войскам и указывая кавалеристам на французов. И кавалеристы на еле двигающихся лошадях, подгоняя их шпорами и саблями, рысцой, после сильных напряжений, подъезжали к подаренной колонне, т. е. к толпе обмороженных, закоченевших и голодных французов; и подаренная колонна кидала оружие и сдавалась, чего ей уже давно хотелось.

Под Красным взяли 26 тысяч пленных, сотни пушек, какую-то палку, которую называли маршальским жезлом, и спорили о том, кто там отличился, и были этим довольны, но очень сожалели о том, что не взяли Наполеона или хоть какого-нибудь героя, маршала, и упрекали в этом друг друга и в особенности Кутузова.

Люди эти, увлекаемые своими страстями, были слепыми исполнителями только самого печального закона необходимости; но они считали себя героями и воображали, что то, что они делали, было самое достойное и благородное дело. Они обвиняли Кутузова и говорили, что он с самого начала кампании мешал им победить Наполеона, что он думает только об удовлетворении своих страстей и не хотел выходить из Полотняных Заводов, потому что ему там было покойно, что он под Красным остановил движенье, потому что, узнав о присутствии Наполеона, он совершенно потерялся, что

[1] первая колонна направится туда-то
[2] рыцарь без страха и упрека,

можно предполагать, что он находится в заговоре с Наполеоном, что он подкуплен им[1], и. т. д., и т. д.

Мало того, что современники, увлекаемые страстями, говорили так,— потомство и история признали Наполеона grand[2], а Кутузова — иностранцы — хитрым, развратным, слабым придворным стариком; русские — чем-то неопределенным,— какою-то куклой, полезною только по своему русскому имени...

В 12-м и 13-м годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по высочайшему повеленью, сказано, что Кутузов был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под Красным и под Березиной лишивший русские войска славы — полной победы над французами[3].

Такова судьба не великих людей, не grand-homme, которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов.

Для русских историков (странно и страшно сказать!) Наполеон,— это ничтожнейшее орудие истории, никогда и нигде, даже в изгнании, не выказавший человеческого достоинства,— Наполеон есть предмет восхищения и восторга; он grand. Кутузов же, тот человек, который от начала и до конца своей деятельности в 1812 году, от Бородина и до Вильны, ни разу ни одним действием, ни словом не изменяя себе, являет необычайный в истории пример самоотвержения и сознания в настоящем будущего значения события,— Кутузов представляется им чем-то неопределенным и жалким, и говоря о Кутузове и 12-м годе, им всегда как будто немножко стыдно.

А между тем, трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно и постоянно была бы

---

1 Записка Вильсона.

2 великим,

3 История 1812 года Богдановича: характеристика Кутузова и рассуждение о неудовлетворительности результатов Красненских сражений.

направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель, более достойную и более совпадающую с волей всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставило себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 12-м году.

Кутузов никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит отечеству, о том, что он намерен совершить или совершил: он вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи. Он писал письма своим дочерям и m-me Staël, читал романы, любил общество красивых женщин, шутил с генералами, офицерами и солдатами и никогда не противоречил тем людям, которые хотели ему что-нибудь доказывать. Когда граф Растопчин на Яузском мосту подскакал к Кутузову с личными упреками о том, кто виноват в погибели Москвы, и сказал: «Как же вы обещали не оставлять Москвы, не дав сраженья?» Кутузов отвечал: «Я и не оставлю Москвы без сраженья», несмотря на то, что Москва была уже оставлена. Когда приехавший к нему от государя Аракчеев сказал, что надо бы Ермолова назначить начальником артиллерии, Кутузов отвечал: «Да я и сам только что говорил это»,— хотя он за минуту говорил совсем другое. Какое дело было ему, одному понимавшему тогда весь громадный смысл события, среди бестолковой толпы, окружавшей его, какое ему дело было до того, к себе или к нему отнесет граф Растопчин бедствие столицы? Еще менее могло занимать его то, кого назначат начальником артиллерии.

Не только в этих случаях, но беспрестанно этот старый человек, дошедший опытом жизни до убеждения в том, что мысли и слова, служащие им выражением, не суть двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные,— первые, которые ему приходили в голову.

Но этот самый человек, так пренебрегавший своими словами, ни разу во всю свою деятельность не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с тою единственною

целью, к достижению которой он шел во время всей войны. Очевидно, невольно, с тяжелою уверенностью, что не поймут его, он неоднократно в самых тяжелых обстоятельствах высказывал свою мысль. Начиная от Бородинского сраженья, с которого начался его разлад с окружающими, он один говорил, что Бородинское сражение есть победа, и повторял это и изустно, и в рапортах, и в донесениях, до самой своей смерти. Он один сказал, что потеря Москвы не есть потеря России. Он в ответ Лористону на предложения о мире отвечал, что мира не может быть, потому что такова воля народа; он один во время отступления французов говорил, что все наши маневры не нужны, что всё сделается само собою лучше, чем мы того желаем, что неприятелю надо дать золотой мост, что ни Тарутинское, ни Вяземское, ни Красненское сражения не нужны, что с чем-нибудь надо притти на границу, что за десять французов он не отдаст одного русского.

И он один, этот придворный человек, как нам изображают его, человек, который лжет Аракчееву с целью угодить государю,— он один, этот придворный человек, в Вильне, тем заслуживая немилость государя, говорит, что дальнейшая война за границей вредна и бесполезна.

Но одни слова не доказали бы, что он тогда понимал значение события. Действия его — все без малейшего отступления, все направлены к одной и той же цели, состоящей в трех делах: 1) напрячь все свои силы для столкновения с французами, 2) победить их и 3) изгнать из России, облегчая, насколько возможно, бедствия народа и войска.

Он, тот медлитель Кутузов, которого девиз есть терпение и время, враг решительных действий, он дает Бородинское сражение, облекая приготовления к нему в беспримерную торжественность. Он, тот Кутузов, который в Аустерлицком сражении прежде начала его говорит, что оно будет проиграно, в Бородине, несмотря на уверения генералов о том, что сражение проиграно, несмотря на неслыханный в истории пример

того, что после выигранного сражения войско должно отступать, он один, в противность всем, до самой смерти утверждает, что Бородинское сражение — победа. Он один во всё время отступления настаивает на том, чтобы не давать сражений, которые теперь бесполезны, не начинать новой войны и не переходить границ России.

Теперь понять значение события, если только не прилагать к деятельности масс целей, которые были в голове десятка людей, легко, так как всё событие с его последствиями лежит перед нами.

Но каким образом тогда этот старый человек, один в противность мнению всех, мог угадать так верно значение народного смысла события, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему?

Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его.

Только признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями — его, в немилости находящегося старика, выбрать, против воли царя, в представители народной войны. И только это чувство поставило его на ту высшую человеческую высоту, с которой он, главнокомандующий, направлял все свои силы не на то, чтоб убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их.

Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история.

Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие о величии.

12

КУТУЗОВ В ДЕНЬ КРАСНЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ

(Том IV, часть IV, гл. VI)

5-го ноября был первый день так называемого Красненского сражения. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, заведших не туда, куда надо; после

рассылок адъютантов с противу-приказаниями; когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит, и сражения не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира.

День был ясный, морозный. Кутузов, с огромною свитою недовольных им, шушукающих за ним генералов, на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных (их взято было в этот день 7 тысяч). Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных чем попало пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ваточной шинели, горбом сидевшей на его сутуловых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные.

Кутузов, казалось, был чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Бо́льшая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные, распухшие и гноившиеся глаза.

Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата — лицо одного из них было покрыто болячками,— разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на проезжающих, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело.

Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат; еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте он заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласко-

во говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой.

— Что ты говоришь?— спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка.

— А, знамена!— сказал Кутузов, видимо с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слова, смотрели на него.

Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько минут и, видимо, неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них.

— Благодарю всех!— сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова:— благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки! — Он помолчал, оглядываясь.

— Нагни, нагни ему голову-то, — сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем Преображенцев.— Пониже, пониже, так-то вот. Ура, ребята!— быстрым движением подбородка обратясь к солдатам, проговорил он.

— Ура-ра-ра!— заревели тысячи голосов.

Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском.

— Вот что, братцы,— сказал он, когда замолкли голоса...

И вдруг голос и выражение лица его изменились: перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой старый

человек, очевидно, что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам.

В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтоб яснее слышать то, что он скажет теперь.

— А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что же делать! Потерпите; недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да всё же вы дома; а они — видите, до чего они дошли,— сказал он, указывая на пленных.— Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы их не жалели, а теперь и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?

Он смотрел вокруг себя и в упорных, почтительно недоумевающих устремленных на него взглядах он читал сочувствие своим словам: лицо его становилось всё светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.

— А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м... и... в г...,— вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстраивавших ряды солдат.

Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержания сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала; но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное именно этим стариковским добродушным ругательством,— это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго неумолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать коляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, видимо находясь в сильном волнении.

II

ОТРЫВКИ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ДНЕВНИКОВ, ПИСЕМ, СТАТЕЙ

1

ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ

Мы все должны любить свое отечество, потому что здесь мы получили жизнь, впервые увидали свет, здесь получили первый материнский поцелуй и здесь протекли первые годы нашего детства. Отечество всегда найдет горячих защитников, готовых для его спасения, защищая его, отдать свою жизнь. Эта любовь к отечеству не может никогда угаснуть в наших сердцах. Сколько видели мы тому примеров, сколько земледельцев при единодушном крике о спасении отечества бросают полуобработанными свои поля и спешат умереть или спасти родину, сколько отцов оставляют своих детей на волю Провидения, сколько супругов разлучается для блага отечества. Прекрасный пример видим мы в Леониде, который имел мужество с тремя стами храбрецов противустать 15 тысячам человек и так храбро защищался, что уцелел лишь один человек, чтобы известить спартанцев о гибели всех остальных.

Так и наша святая Русь всегда, во все бедственные времена имела таких защитников, как Минин, Пожарский, Суворов и Кутузов. В то время, когда она вздыхала под игом поляков, простой мясник Минин воодушевил всех граждан Нижнего Новгорода своим примером, продавши на жертву отечеству всё свое небольшое имущество. — «Да, — говорил он нижегородским купцам,— оставим жен и детей и продадим последнее, что имеем, но изгладим нашей кровью пятно, наложенное на Россию поляками.

(1839—1840).

Читаю «Историю» Соловьева. Всё, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж[1], грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту «Историю» — и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.

Но как же так ряд безобразий произвел великое, единое государство?

Уж это одно показывает, что не правительство производило историю.

Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли, невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше?

Народ живет.

Записная книжка, 4 апреля 1870 г. (не опубликовано).

Обложился книгами о Петре I и его времени; читаю, отмечаю, порываюсь писать — и **не могу.** Но что за эпоха для художника! На что ни взглянешь, всё — задача, загадка, разгадка которой только и возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут.

Письмо к Н. Н. Страхову 17 декабря 1872 г.

Спор славянофилов и западников. Как во всяком споре, оба справедливы. Петр, т. е. время Петра сделало великое, необ-

[1] Правеж — пытки.

ходимое дело; но, открыв себе путь к орудиям европейской цивилизации, не нужно брать цивилизацию, а только ее орудия для развития своей цивилизации. Это и делает народ.

Записная книжка, 2 апреля 1872 г. (не опубликовано).

...Я пришел в класс русской истории, — рассказывалось о Святославе. Им было скучно. На высокой лавке, как всегда, рядом сидели три крестьянские девочки, обвязанные платками. Одна заснула. Мишка толкнул меня: «Глянь-ка, кукушки наши сидят, одна заснула. И точно, кукушки». «Расскажи лучше с конца!» — сказал кто-то, и все привстали.

Я сел и стал рассказывать. Как всегда, минуты две продолжались возня, стоны, толкотня: кто под стол, кто на стол, кто под лавки, кто на плечи и на колени другому, — и всё затихло... Я начал с Александра I, рассказал о Французской революции, о успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дошло дело до нас, со всех сторон послышались звуки и слова живого участия. — «Что же, он и нас завоюет?» — «Небось Александр ему задаст!» сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать — не пришло еще время; и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту. «Погоди же ты!» проговорил Петька с угрожающим жестом. «Ну, ну, рассказывай! Ну!» Когда не покорился ему Александр, т. е. объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, — все замерли от волнения.

Немец, мой товарищ, стоял в комнате. — «А, вы на нас!» — сказал ему Петька (лучший рассказчик). — «Ну, молчи!» закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей, так что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? и ругали Кутузова и Барклая. — «Плох твой Кутузов». — «Ты погоди», говорил другой. — «Да что ж он сдался?» — спрашивал третий. Когда пришла Бородинская битва, и когда в конце ее я должен был сказать, что мы всё-таки не победили,

мне жалко было их: видно было, что я страшный удар наношу всем. — «Хоть не наша, да и не ихняя взяла!» — Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, — всё загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество — отступление. — «Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить», сказал я. — «Окарячил его!» — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его привычка. Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, и никто не замечал. — «Так-то лучше! Вот те и ключи» и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упустили его, Петька даже крякнул: «Я б его расстрелял, сукина сына, зачем он опоздал!» — Потом немножко мы пожалели даже мёрзлых французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. — «А, вы так-то? То на нас, а как сила не берет, так с нами?» — И вдруг все поднялись и начали ухать на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали. Только воспоминание Крымской войны испортило нам всё дело. — «Погоди же ты, — проговорил Петька, потрясая кулаками: — дай я вырасту, я же им задам!» — Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили.

Уже было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горели. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня. — «Как ты сюда залез?» — «Он с самого начала», сказал кто-то. Нечего было и спрашивать, понял ли он, видно было по лицу. «Что, ты расскажешь?» спросил я. «Я-то? — он подумал: — всю расскажу». — «Я дома расска-

жу». — «И я тоже». — «И я». — «Больше не будет?» — «Нет». — И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил.

Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы 1862).

Это было в 37 году... Помню, что мне досталось въезжать в Москву в коляске с отцом. Был хороший день, и я помню свое восхищение при виде московских церквей и домов, — восхищение, вызванное тем тоном гордости, с которым отец показывал мне Москву.

«Воспоминания» (1903 - 1906).

КРЕМЛЬ

Какое великое зрелище представляет Кремль! Иван Великий стоит как исполин посреди других соборов и церквей и напоминает этого хитрого похитителя престола. Этот старинный теремок как бы свидетельствует о бурных временах Иоанна Грозного. Эти белые каменные стены воспоминают великого гения и героя, который у этих стен потерял всё свое счастие, и видели стыд и поражение непобедимых полков Наполеоновых; у этих стен взошла заря освобождения России от иноплеменного ига; а за несколько столетий в этих же стенах положено было начало освобождения России от власти поляков во времена самозванца; а какое прекрасное впечатление производит эта тихая река Москва! Она видела, как она, быв еще селом, стояла, никем незнаемая, как потом возвеличивалась, сделалась городом, видела ее все несчастия и славу и наконец дождалась до ее величия. Теперь эта бывшая деревенька Кучко сделалась величайшим и многолюднейшим городом Европы.

(1839–1840).

Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она — мать...

«Война и мир», т. III, ч. III, гл. XIX (1863—1869).

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера... Помню я еще в отряде 1852 года один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели.

«Рубка леса» (1852—1854).

Любезный друг Сережа!

Я бог знает как виноват перед всеми вами с самого моего отъезда, и от чего это случилось, сам не знаю: то рассеянная жизнь, то скверное положение и расположение, то война, то кто-нибудь помешает и т. д., и т. д. Главная же причина — рассеянная и обильная впечатлениями жизнь. Столько я переузнавал, переиспытал, перечувствовал в этот год, что решительно не знаешь, с чего начать описывать, да и сумеешь ли описать, как хочется. Ведь, я тетеньке написал про Силистрию, а тебе и Николиньке я не напишу так, — я б хотел вам передать так, чтобы вы меня поняли, как я хочу. Теперь Силистрия старая песня, теперь Севастополь, про который, я думаю, и вы читаете с замиранием сердца, и в котором я был 4 дня тому назад. Ну, как тебе рассказать всё, что я там видел и где я был и что делал, и что говорят пленные и раненные французы и англичане, и б о л ь н о л и и м и о ч е н ь

ли больно им, и какие герои наши моряки и наши солдаты, и какие герои наши враги, особенно англичане. Рассказывать это всё будем в Ясной Поляне или Пирогове; а про многое ты от меня же узнаешь в печати. Каким это образом, расскажу после, теперь же дам тебе понятие о том, в каком положении наши дела в Севастополе. Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне больше 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более 3-х недель подошел в одном месте на 80 сажен и нейдет вперед; при малейшем движении его вперед его засыпают градом снарядов. Дух в войсках свыше всякого описания. В времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство! Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22.000 исполнили это обещание.

Раненный солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24-го было 160 человек, которые раненные не вышли из фронта. Чудное время! Теперь, впрочем, после 24-го умы поуспокоились, — в Севастополе стало прекрасно. Неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмет города, и это действительно невозможно. Есть 3 предположения: или он пойдет на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, чтобы прикрыть отступление, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни

одного раза быть в деле; но я благодарю бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардированье 5-го числа останется самым блестящим, славным подвигом не только в русской, но во всемирной истории. Более 1500 орудий два дня действовали по городу и не только не заставили сдаться его, но не заставили замолчать и $^1/_{20}$-й наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит ее выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии (как 6-й корпус), деремся с неприятелем многочисленнейшим, имеющим еще флот, вооруженный 3.000 орудий, отлично вооруженный штуцерами и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов. Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я убежден) при таких условиях...

Письмо к брату С. Н. Толстому 20 ноября 1854 г.

Дорогая и чудесная тетенька!

27-го в Севастополе произошло большое и славное дело. Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие, как доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался никакой опасности. 28-е, день моего рождения, второй раз в моей жизни было для меня памятным и печальным днем: в первый раз, 15 лет тому назад, это была смерть тетушки Александры Ильиничны; теперь — потеря Севастополя. Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах; и вообще во многих отношениях это был день очень печальный.

Письмо к Т. А. Ергольской 4 сентября 1855 г.

В 9-м часу вечера Вланг с батареей на пароходе, наполненном солдатами, пушками, лошадьми и ранеными, переправлялся на Северную. Выстрелов нигде не было. Звезды так же, как и в прошлую ночь, ярко блестели на небе; но сильный ветер колыхал море. На 1-м и 2-м бастионе вспыхивали по земле молнии; взрывы потрясали воздух и освещали вокруг себя какие-то черные странные предметы и камни, взлетавшие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, наполненный народом, освещался огнем с Николаевской батареи. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыске Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те же, как и вчера, спокойные, дерзкие огни блестели в море на далеком неприятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. При свете зарева пожаров видны были мачты наших утопающих кораблей, которые медленно глубже и глубже уходили в воду. Говору не слышно было на палубе: из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали и топали ногами на шаланде, слышны были командные слова капитана и стоны раненых. Вланг, не евший целый день, достал кусок хлеба из кармана и начал жевать, но вдруг, вспомнив о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услыхали.

— Вишь, сам хлеб ест, а сам плачет, Вланга-то наш, — сказал Васин.

— Чудно! — сказал другой.

— Вишь, и наши казармы позажгли, — продолжал он, вздыхая. — И сколько там нашего брата пропало; а ни за что французу досталось!

— По крайности сами живые вышли, и слава ти, господи, — сказал Васин.

— А всё обидно!

— А что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут! Уж сколько б нашего брата ни пропало, а, как бог свят, велит император — и отберут. Разве наши так оставят ему? Как же! На вот тебе голые стены; а шанцы-то все повзорвали... Небось, свой значок на кургане

поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий — дай срок, — заключил он, обращаясь к французам.

— Известно, будет! — сказал другой с убеждением.

По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью, одних за другими умирающих героев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и наконец восхищение врагов, — на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Всё было мертво, дико, ужасно, — но не тихо: всё еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие—русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Всё это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, разливаясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой тесноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью, — от места, 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага и которое теперь велено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказания. Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как

только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с клажею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненого солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти; и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу; и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат; и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющеюся толпой; и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи; и у артиллериста, 16 лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту; и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

«Севастополь в августе 1855 г.», гл. 27 (1855).

2

Мой любимый предмет — это русский народ, настоящий русский мужицкий народ.

Предисловие к альбому картин Н. В. Орлова «Русские мужики» (1908).

Помню умиление и восторг, произведенные на меня, 10-летнего мальчика, не смевшего верить себе, «Антоном-Горемыкой», бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и — хочется сказать — учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом.

Письмо к Д. В. Григоровичу 27 октября 1893 г.

Когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, в роде того, который испытывал я при виде тонущих людей. «Ах, батюшки! Как бы вытащить, и кого прежде, кого после вытащить!» И тонет тут самое дорогое — именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе.

Письмо к А. А. Толстой, декабрь 1874 г.

Народ в настоящую минуту жаждет образования, как иссохшая трава жаждет воды, готовый принять его, просящий его.

«О народном образовании» (1874).

В поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров.

«Прогресс и определение образования» (1862).

Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа — того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей.

«Исповедь», гл. XIII (1879–1882).

«Да, совсем новый, другой, новый мир», думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни.

«Вот он, le vrai grand monde[1], — думал Нехлюдов, вспоминая фразу, сказанную князем Корчагиным и весь этот праздный, роскошный мир Корчагиных с их ничтожными, жалкими интересами.

И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир.

«Воскресение», ч. II, гл. XLII (1889–1899).

Пошел к сапожнику. Стоит войти в рабочее жилье — душа расцветает.

Дневник, 23 марта 1884 г. (не опубликовано).

Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни и которое высоко ценимо бы было, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если б оно не проявлялось каждый год и если бы последствия этого напряжения не были так просты.

---

[1] Подлинный большой свет.

Скосить и сжать рожь и овес и свезти, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена и посеять озимое — всё это кажется просто и обыкновенно; а чтобы успеть сделать всё это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали не переставая в эти три-четыре недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и черным хлебом, молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более двух-трех часов в сутки. И каждый год это делается по всей России.

«Анна Каренина», ч. VIII, гл. XI (1873—1877).

Очень жалко мужиков. Трудно представить себе всё, что они перенесли и еще перенесут. Весь хлеб сгорел. Если на деньги счесть потерю, то это больше 10 тысяч. Страховых будет тысячи две, а остальное всё надо вновь заводить нищим, и заводить всё то, что нужно необходимо только для того, чтобы не помереть с семьями с холоду и голоду... Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно — эта сила, эта независимость, и уверенность в свою силу, и спокойствие.

Письма к С. А. Толстой 28 и 29 апреля 1883 г. из Ясной Поляны.

В половине восьмого пошел ходить. Ночь не хуже дня — прелесть... У Воробьевки встретил толпу мужиков и баб с песнями. Свадьба. Они прошли со мной до двора и стали упрашивать войти. Я вошел — меня величали и поднесли полотенце... Я выпил браги молодой; потребовали, чтобы я сказал: горько, и требовали этого раз пять. И молодой и молодая свежие, здоровые, нарядные, сильные, счастливые.

Письмо к С. А. Толстой 22 октября 1884 г. из Ясной Поляны

Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства поземельной собственности.

Записная книжка, 13 августа 1865 г

3

Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, мне мил. Язык этот, кроме того, — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит; а наш литературный язык без костей, так набалован, что хочешь мели — всё похоже на литературу... Я... просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное, и всё это нахожу в народной поэзии и языке и жизни, и обратное — в нашем.

Письмо к Н. Н. Страхову 22 марта 1872 г.

Я потому только мало сочувствую народному журналу, что я слишком ему сочувствую: я убежден, что те, которые за него возьмутся, будут à cent lieues[1] от того, что нужно для народа. Мои требования, льщу себя надеждой, одинаковые с требованием народа, это — чтобы журнал был понятен. А этого-то и не будет. Понятливость, доступность есть не столько необходимое условие для того, чтобы народ читал охотно, но есть, по моему убеждению, узда для того, чтобы не было в журнале глупого, неуместного, бездарного. Если бы я был издатель народного журнала, я бы сказал своим сотрудникам: пишите, что хотите. Проповедуйте коммунизм, хлыстовскую веру, протестантизм, — что хотите, но только так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет везти экземпляры из типографии, и я уверен, что, кроме честного, здравого и хорошего, ничего не будет в журнале. Я не шучу и не желаю говорить парадоксов, а твердо знаю это из опыта. Совершенно понятным и простым языком ничего дурного нельзя будет написать. Всё безнравственное представится столь безобразным, что сейчас будет отброшено, всё сектаторское, протестантское ли, хлыстовское ли, явится столь ложным, если будет высказано без непонятных фраз, всё сколько-нибудь поучительное, популярно-научное, но не серьезное и большей ча-

---

[1] За сто миль.

стью ложное, чем всегда переполняются народные журналы, тоже без фраз, а выраженное понятным языком, покажется столь глупо и бедно, что тоже откинется. Если народный журнал серьезно хочет быть народным журналом, то ему надо только стараться быть понятным, и достигнуть этого не трудно. С одной стороны, стоит только пропускать все статьи через цензуру дворников, извозчиков, черных кухарок. Если ни на одном слове чтец не остановится, не поняв, то статья прекрасна. Если же, прочтя статью, никто из них не может рассказать, про что прочел, статья никуда не годится.

Я истинно сочувствую народному журналу и надеюсь, что вы отчасти согласитесь со мной, и потому говорю все это. Но знаю тоже, что 0,999 сочтут мои слова или просто глупостью, или желанием оригинальничать, тогда как я, напротив, в издании дамами журнала для народа — дамами, и думающими и говорящими не по-русски и без желания справиться с тем, понимает ли их народ — вижу самую странную и забавную шутку.

Я сказал: понятности достигнуть очень легко, с одной стороны — стоит только в рукописях читать и давать читать народу, но, с другой стороны, издавать журнал понятный очень трудно. Трудно, потому что окажется очень мало материала. Будет беспрестанно оказываться то, что статья, признанная charmant [1] в кругу редакции, как скоро прочтется в кухне, будет признана никуда не годной или что из 10-ти листов слов окажется дела на 10 строк.

Письмо к Е. И. Мен ден 18—20 апреля 1874 г.

Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет для меня одно из любимых — не занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне представляются лица из народа и их столкновения в смысле пословицы. В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы.

«Кому у кого надо учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862)

---

[1] Милой

Поговорки, которые наполняли его [Платона Каратаева] речь, были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

«Война и мир», т. IV. ч. I. гл. XIII.

Каждое дитя народа имеет точно такие же права — что я говорю — еще большие права на наслаждения искусством, чем мы, дети счастливого сословия, не поставленные в необходимость того безустального труда, окруженные всеми удобствами жизни.

«Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (1862).

Дело, занимающее вас, народный театр, очень занимает и меня... Отдайтесь все этому делу и не раздумывая, не готовясь, прямо перекрестясь прыгайте в воду, т. е. переделывайте, переводите, собирайте (я сейчас напишу) пьесы такие, которые имели бы глубокое, вечное содержание и были понятны всей той публике, которая ходит в балаганы, и ставьте их, и давайте, где можно — в театрах ли, в балаганах ли. Если вы возьметесь за это дело, я всячески... буду служить этому делу.

Письмо к П. А. Денисенко 19 февраля 1886 г.

Я думаю, что вы делаете очень хорошее дело, стараясь удержать в народе его старинные прелестные песни.

Письмо 20 марта 1896 г. к организатору оркестров балалаечников В. В. Андрееву.

Воз был увязан. Иван спрыгнул и повел за повод добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на воз грабли и бодрым шагом, размахивая руками, пошла к собравшимся хороводом бабам. Иван, выехав на дорогу, вступил в обоз с другими возами. Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими, веселыми голосами, шли позади возов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее

до повторения, и дружно, враз, опять с начала подхватили ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов.

Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны и воза, и весь луг с дальним полем — всё заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни.

«Анна Каренина», ч. III, гл. XII (1873—1877).

На-днях я шел домой с прогулки в подавленном состоянии духа. Подходя к дому, я услыхал пение большого хоровода баб. Они приветствовали, величали вышедшую замуж и приехавшую мою дочь. В пении этом, с криками и битьем в косу, выражалось такое определенное чувство радости, бодрости, энергии, что я сам не заметил, как заразился этим чувством, и бодрее подошел к дому, и подошел к нему совсем бодрый и веселый.

«Что такое искусство?», гл. XIV (1897—1898).

— Песенники, вперед! — послышался крик капитана.

И перед роту с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик-запевало обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся: «Не заря ли, солнышко, занималося...» и кончавшуюся словами: «То-то, братцы, будет слава нам с Каменским отцом»... Песня была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место «Каменским отцом»... вставляли слова: «Кутузовым отцом».

Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он, как будто осторожно приподнял обеими руками какую-то невидимую, драгоценную вещь над

головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:

— Ах, вы, сени мои, сени!

— «Сени новые мои...», подхватило двадцать голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резко выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускиванье рессор и топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали итти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду, с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза голубоглазый солдат Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет из свиты Кутузова, передразнивающий полкового командира, отстал от коляски и подъехал к Долохову.

Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему:

— Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, ровняя шаг своей лошади с шагом роты.

— Я как? — отвечал холодно Долохов. — Как видишь.

Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которою говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

— Ну, как ладишь с начальством? — спросил Жерков.

— Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?

— Прикомандирован, дежурю.

Они помолчали.

— «Выпускала сокола да из правова рукава», говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.

«Война и мир», т. I, ч. II, гл. II.

Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле. Он взял (несколько театральным жестом, отставив локоть левой руки) гитару повыше шейки и, подмигнув Анисье Федоровне, начал не «Барыню», а взял один звучный, чистый аккорд и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать известную песню: «По у-ли-и-ице мостовой»... В раз, в такт, с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало всё существо Анисьи Федоровны), запел в душе у Николая и Наташи мотив песни. Анисья Федоровна закраснелась и, закрывшись платочком, смеясь вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически-твердо отделывать песню, изменившимся, вдохновенным взглядом глядя на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице с одной стороны под седым усом, — особенно смеялось тогда, когда дальше расходилась песня, ускоряя такт, и в местах переборов отрывалось что-то.

— Прелесть, прелесть, дядюшка! Еще! Еще! — закричала Наташа, как только он кончил. Она, вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его.

— Николинька, Николинька! — говорила она, оглядываясь на брата и как бы спрашивая его: что же это такое?

Николаю тоже очень нравилась игра дядюшки. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях и из-за ней еще другие лица... «За холодной ключевой, кричит девица: постой!» играл дядюшка, сделал опять ловкий перебор, оторвал и шевельнул плечами.

— Ну, ну, голубчик, дядюшка, — таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от

этого. Дядюшка встал, и как будто в нем было два человека, — один из них серьезно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную и аккуратную выходку перед пляской.

— Ну, племянница! — крикнул дядюшка, взмахнув к Наташе рукой, оторвавшею аккорд.

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чуждую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.

«Война и мир», т. II, ч. IV, гл. VII.

Один из замечательнейших признаков гибкости русского языка заметен в изменении повторяемого стиха в песнях, например: ни одной песни нет, особенно веселой, лихой, в которой этот refrain[1] не изменялся бы иногда тремя, четырьмя манерами, например:

---

[1] Повторяемый стих.

По горенке милый ходит,
Тяжело вздыхает (тяжко воздыхает, тяжко о
вздыхает, плачет-воздыхает).

Дневник, 18 октября 1853 г

Читал я это время книги, о которых никто понятия н
имеет, но которыми я упивался. Это — «Сборник сведений
кавказских горцах», изданный в Тифлисе. Там предания
поэзия горцев и сокровища поэтические необычайные. Хоте
лось бы вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоминалис
вы. Но не посылаю потому, что жалко расстаться. Нет-нет
перечитываю.

Письмо к А. А. Фету, октябрь 1875 г

Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связ
между двумя явлениями, находящимися между собой в обрат
ном отношении: упадок поэтического творчества всякого
рода — музыки, живописи, поэзии — и стремление к изучени
русской народной поэзии всякого рода: музыки, живописи,
украшения, и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок
а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя
волна поэтическая — парабола — была при Пушкине на выс
шей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы, грешные, и ушла
под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплы
вет, бог даст... Счастливы те, кто будет участвовать в вы-
плывании. Я надеюсь.

Письмо к Н. Н. Страхову 3 марта 1872 г

4

Пришла весна, — как ни вертелась, а пришла. Воочию чу
деса совершаются. Каждый день новое чудо. Был сухо
сук — вдруг в листьях. Бог знает откуда-то снизу, из-по
земли лезут зеленые штуки, желтые, синие. Какие-то живот
ные, как угорелые, из куста в куст летают и зачем-то сви
стят изо всех сил, и как отлично! Даже в эту минуту по
самым окном два соловья валяют. Я делаю с ними опыты,

бые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно прыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка кала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Го- народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепе- , жужжание насекомых, которые неподвижными стаями лись в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного по- , тысячи различных цветов и теней, которые разливало лящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали са и белолиловым облакам, белые паутины, которые но- сились в воздухе или ложились по жнивью, — всё это я видел, слышал и чувствовал.

«Детство», гл. VII (1852).

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали, и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые душистые пушистые кашки, молочно-белые, с яркой желтой серединой «любишь не любишь», с своей приятной пряной вонью, желтая сурепка с своим медовым запахом, высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки, желтые, красные, розовые скабиозы, лиловый, аккуратный, с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник, васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость, и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был

так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он, по своей грубости и аляповатости, не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я оторвал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровного, взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растеньица, ни одной травки, — всё было черно. «Экое разрушительное существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений, для поддержания своей жизни», — думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но всё-таки стоял, — точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз, но он всё стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его.

«Экая энергия! — подумал я, — всё победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот всё не сдается».

«Хаджи Мурат» (1896—1904).

Стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда всё блестит в редком чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.

«Война и мир», т. III, ч. III, гл. XIX.

Было морозно и ясно... При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812-го года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто с невыразимой быстротой пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами.

«Война и мир», т. II, ч. V, гл. XXII.

Я начинаю любить Кавказ хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно, хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противуположные вещи — война и свобода.

Дневник 9 июля 1851 г.

Рано утром он [Оленин] проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал — шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту — чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же... На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-по-малу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты всё, что только он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор... «Теперь началось», как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, — всё это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы... Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемеживаются гнедыми и серыми ногами, а горы... За Тереком виден дым в ауле, а горы... Солнце всходит и блещет на видневшемся из-за камыша Тереке, а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые, а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость, и горы...

«Казаки», гл. III (1852—1862)

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись беломатовые громады горы. Воздух был редок, неподвижен и зву-

чен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от горы на степи. В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто.

«Казаки», гл. V.

Ночь была темная, теплая и безветреная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и большая часть неба от гор была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка как будто без причины начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями дерев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше — и вода, и берег, и туча, всё сливалось в непроницаемый мрак... Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и теченье воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самою головой казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух не спавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и повернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом.

«Казаки», гл. VII (1852—1862).

Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он гуляет... Постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частью и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чувяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляет привычку и необходимость их жизни.

«Казаки», гл. IV.

Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело... Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженною и выкрашенною красною бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит... Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита.

«Казаки», гл. XXI.

Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа.

Письмо к С. А. Толстой 23 июня 1871 г. с самарского хутора.

Здесь очень хорошо и значительно всё... Если бы начать писывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и мои занятия. Читаю и Геродота, который с подробностью и большой верностью описывает тех самых галактофагов-скифов, среди которых я живу... Жара третий день стоит страшная. В кибитке накалено, как на полке, но мне это приятно. Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа.

Письмо к А. А. Фету 16–17 июля 1871 г. с самарского хутора.

Поездка наша продолжалась четыре дня и удалась прекрасно. Дичи пропасть, девать некуда — уток и есть некому, и башкиры, и места, где мы были, и товарищи наши были прекрасные... Принимали нас везде с гостеприимством, которое трудно описать. Куда приезжаешь, хозяин закалывает жирного курдюцкого барана, становит огромную кадку кумысу, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не выпьют его кумыс.

Письмо к С. А. Толстой 16—17 июля 1871 г. с самарского хутора.

Одного русского человека почти никогда нет (нешто когда он делает что-нибудь плохое, тогда — я). А то семья — мы, артель — мы, обчество — мы...

Как не радоваться, живя среди такого народа, как не ждать всего самого прекрасного от такого народа.

«Разговор с прохожим» (1909).

Пенз. Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова